

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА

Юрий Козлов

Мраморное одеяло Поэма.....16

Александр Покровский

Сказание о княгине Ольге106

Екатерина Полумискова

Испанские сны Луиса Мартинеса 198



ПОЭЗИЯ

Вениамин Ащеулов

Стихотворения 3

Елена Заславская

Стихотворения 99

Иван Аксенов

Избранное185

Наталья Окенчиц

Стихотворения231

КРАЕВЕДЕНИЕ

Алексей Кругов

Олег Парфенов

Поколение победителей237

Главный редактор

Владимир Бутенко

*Литературное
Ставрополье
№ 1 (2025)*



УДК 821.161.1(470.630)-8

ББК 84(2-411.2)64

Л 64

Редакционная коллегия:

В. Бродовский, О. Воропаев,
Е. Гончарова, А. Кругов, Р. Нутрихин,
Е. Полумискова, С. Скрипаль,
О. Страшкова

Литературное Ставрополье. Альманах
Л 64 № 1 (2025). – Воронеж: ООО «Славянская
Типография», 2025. – 260 с.

ISBN 978-5-6052245-3-2

УДК
821.161.1(470.630)-8
ББК 84(2-411.2)64

Адрес редакции:

355033, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 78.
Тел. (8652) 26-31-50

Рукописи не рецензируются
и не возвращаются

ISBN 978-5-6052245-3-2



9 785605 224532 >

**Антология
Ставропольской
поэзии**

Я прошу – не пугайте седых
журавлей,
Что в лугах, будто призраки,
бродят.
Дайте им надышаться настоящим
полей,
Нагуляться в кругу-хороводе.
Перед тем, как подняться
в туманную стынъ,
Пусть купаются в дымчатых
росах,
Чтоб мерещился им над
безводьем пустынь
Росный блеск наших трав
медоносных.
Пусть вдыхают и пьют
на родимой земле
Костерков горьковатую
роздымь,
Чтоб огнями степными в сырой
полумгле
Им казались далёкие звёзды.
Я прошу – не пугайте седых
журавлей,
Дайте сил им и духу набраться, –
Чем дороже родная земля
и милей,
Тем трудней от неё оторваться.



**Вениамин
АЩЕУЛОВ**

Поэзия



Я БЫЛ АРМЕЙСКИМ ЖУРНАЛИСТОМ

Я был армейским журналистом –
О, незабвенная пора –
Когда слова, как будто выстрел,
По-ратному в потоке быстром
Летели в жизнь из-под пера.

А чтоб слова не тратил зря ты,
А звал к победным рубежам,
Себя я жизненным зарядом
В той жизни, что кипела рядом,
Бесперебойно заряжал.

Я жил с солдатами в палатках,
Деля их скромный уют,
И, как они, на шутку падкий.
Вносил в блокнот на тех нападки,
У коих тяжелеют пятки,
Когда в походах отстают.

Я с ними строил переправы,
Купался в поливах росы.
И, пользуясь газетным правом.
Достойно наделял их славой
В заметках первой полосы.

Они меня учили сметке
В водовороте ратных дней
С тем, чтобы я в моих заметках –
О переправе иль разведке –

Не щebetал, как птаха в клетке,
А был по-воински родней.

А как мила их откровенность,
Когда с наскоком петушков
На сборах лириков военных
Они искали дерзновенно
В стихах наличие стихов.

Для них всё воинское свято –
В стихах, в заметке иль в строю.
Не зря с восхода до заката
Они высот штурмуют скаты,
Чтоб, как положено солдату,
Быть стойким в истинном бою.

И вот теперь, когда я штатский,
Когда в сомнениях мечусь,
Чтобы изжить из сердца шаткость,
Я, как и прежде, по-солдатски
У них решимости учусь.

ГОРЯТ ХЛЕБА

Дрожат хлеба
от орудийных вспышек
И шепчут слово страшное:
«Война!»

Горят хлеба.

Горят
и жарко дышат,

Не понимая,
в чём же их вина?

А мы идём туда,
 где канонада
Вздымает клубы пыли и золы.
Голодные,
 с горящей нивой рядом,
Браним нерасторопные тылы.
А на душе –
 как тяжёлый камень
От скорбного призыва:
 «Помоги!»
Колосья обожжёнными руками,
Склонясь, хватают нас
 за сапоги.

И ВОТ Я ОПЯТЬ ПОД МОСКВОЮ...

И вот я опять под Москвою,
Где жаром дышали бои,
Где насмерть стояли герои –
Друзья боевые мои.

Где воинский долг и присяга
В набат обращали слова:
«Ни шагу назад, ни полшага,
За нами – Москва!»

Под плитами дремлют солдаты,
Вдыхая степной аромат.
И, верно, им снятся раскаты
Боёв, что над ними гремят.

А может, им снятся победы
И в ярких огнях города.
И люди, что едут и едут
Со всех континентов сюда.

Хоть сердцу легко от причастья
К боям, что ушли далеко,
Но кровью добытое счастье
Живущим нести нелегко,

Где воинский долг и присяга
В набат обращали слова:
«Ни шагу назад, ни полшага,
За нами – Москва!»

НА ВОЙНЕ ЗАТИШЬЯ НЕ БЫВАЕТ...

На войне затишья не бывает.
Бой затих,
Но дело не в пальбе.
Если грохот боя убывает,
Не смолкает ненависть в тебе.

И какое к чёрту там затишье,
Если в сердце боли нет конца,
Если слышишь в тишине застывшей,
Как стучат товарищей сердца!

И огонь в душе не убывает,
Хоть и смолк противник пред тобой.
На войне затишья не бывает, –
В том затишье зреет новый бой.

* * *

О чём солдаты думают в окопах?
О неизбежной смерти? –

Никогда!

О том, что с лиц однажды смоят
копоть
И по домам – на долгие года.

Но в их сердцах живут порывы Данко,
И мать-земля настолько дорога,
Что не страшась бросаются на танки
С одной лишь думой –
сокрушить врага!

ФРОНТОВАЯ ДОРОГА

Избита вся и вся изрыта,
Ты и печалишь, и гневишь.
Ты вся, как после тяжких пыток,
В глубоких шрамах огневых.

Бредём в пыли за ротой – рота,
А ты гудишь, а ты ревёшь.
И, может быть, за поворотом
Ты чьи-то жизни оборвёшь.

Но разве может обессилеть
Живой, над павшими скорбя,
Когда вослед глядит Россия
И ждёт победы от тебя?!

ИСХОДНЫЙ РУБЕЖ

Был день как день – безоблачный,
воскресный,
Не предвещавший ни грозы, ни тьмы.
И то, что враг огнем тяжеловесным
Ударил вдоль границы повсеместно,
В глухом тылу еще не знали мы.
На травах звездно росы полыхали,
Во всю гремел оркестр наш полковой,
Наверно, потому и не слышали,
Как нарастал вдали смертельный вой.
Когда трубач нам протрубил тревогу
И мы застыли в боевом строю,
Еще не представляли – если строго –
Мы эту участь ратную свою.
Хоть каждый день с подъема до отбоя
В полях учились бою, пыль клубя,
Душою ощутив раскаты боя,
Мы как-то странно глянули в себя.
Что было там, «в себе», – не помню точно,
И нас ли в той неточности винить! –
Одно нам было ясно – край наш отчий
Без нас никто не может заслонить.
И мы пошли по огненным дорогам,
По рубежам войны – из боя в бой,
И стала изначальная тревога
Тревожною солдатскою судьбой.
И вот сейчас, сверяя путь солдата
Со всем, что свято, в сердце бережем,
Я знаю точно – роковая дата
Была моим исходным рубежом.

* * *

У БЛИНДАЖА СИДЯТ РАЗВЕДЧИКИ...

Солдат не думает о вечности,
Когда нещадно пушки бьют.
У блиндажа сидят разведчики
И фронтovou норму пьют.
И жостью кружек скупю чокаясь,
Чтоб горечъ в сердце заглушить,
Роняют глухо, но отчетливо:
– За то, чтоб жить!
Смерть на войне – не оправдание,
Когда приказ разведке есть.
Все десять вышли на задание,
А возвратились только шесть.
Шестой был я.
Шестой ли, первый ли –
Подобный счет не нам вести.
Мы ощущали всеми нервами
Тех, выбывших из десяти.
И снова шли во тьму кромешную
На поиск, страхи отстраняя.
Моя погибель долго мешкала –
И проворонила меня.
И жить бы мне в тиши рассвеченной,
Благословляя свой уют,
Но в битвах павшие разведчики
Передо мной, как судьи вечные,
Вперед идущими встают.

* * *

Я РОССИЮ ЛЮБЛЮ...

Я Россию люблю
От заснеженных гор до низинок,
Где смеясь и волнуясь,
Ласкают мой взор зеленыя.
Я Россию люблю
От небес и до синих росинок,
Что на утреннем солнце играют,
Неслышно звеня.
Я Россию люблю –
И восходы ее и закаты,
И лесов тишину,
И разливы стремительных рек.
Я Россию люблю
Неизбывной любовью солдата,
Потому что в боях прикипел
к ней душою навек.
Я Россию люблю!..
А она тебя? –
Кто-нибудь спросит.
Я ответить на это,
пожалуй,
навряд ли смогу.
Просто с детства люблю
уходить в звездопадную осень
и подолгу стоять одиноко
на сонном луту.

СЛОВО О ЛОШАДЯХ

Завесу детства подними –
Встает ночное.
Казались лошади людьми
В ночи со мною.
Их чуть, бывало, помани –
По-человечьи
Склоняли головы они
Ко мне на плечи.
Когда я спал, они траву
Щипали рядом.
И видел я,
как наяву,
С грустинкой взгляды –
Буланных, карих, вороных,
Гнедых и чалых, –
Таких доверчиво-родных
И одичалых.
Я видел, как в разгуле дней,
Пронзая воздух,
Бросались вихрем под коней
Снега и звезды!
Я слышал, как во все концы
Моей России,
Смеясь, звенели бубенцы
В просторах синих.
Врага сминая под собой
Под гром орудий,
Летели кони в жаркий бой
Открытой грудью.
И коль боец уже без сил,
То к водопою

Конь осторожно выносил
Бойца из боя.
Другое время на Руси.
«Что – лошадь? – вторят.
По тыще лошадиных сил
В одном моторе».
Пусть эти силы в наши дни
Сошлись в едино,
И все же сложены они
Из лошадиных.
Когда ракету гулкий взрыв
Бросает в космос,
В дыму я вижу конских грив
Седые космы!

ПЕРЕД БОЕМ ДРУЗЬЯ НЕИЗМЕННО ПРОЩАЮТСЯ

Перед боем друзья
Неизменно прощаются,
Потому что из боя
Не все возвращаются.
И неведомо нам -
На родную сторонку
То ли сам ты придёшь,
То ль похоронка.
Подымили махрой.
Погрустили немного.
Приглушили
Растущую в сердце тревогу.
Обнялись.
Обменялись коротким «пока»

И – к переднему краю
Дорогой полка.
Он рванулся вперёд
На крутом перевале,
Где враги головы нам поднять не давали,
И, споткнувшись, угас,
Озаряя собой
Путь собратьев своих,
Продолжающих бой.
А когда отгремел
Огневой ураган,
В темноте замаячил
Могильный курган.
Две берёзы
Печально склонились над ним.
Затуманился месяц,
Печалью раним...
Скорбный запах листвы
Надмогильных берёз
В домик друга я
Ранней весной занёс.
Усадили за стол.
Подносили вина.
А в душе, как волна,
Поднималась вина -
Той вины тяжелее
Не знал я на свете.
За погибших в бою
Все живые в ответе.
А друзья по окопу,
Друзья по войне
За погибших в бою
Отвечают вдвойне.

ТИШИНА

Мне, солдату, особых усилий не надо,
Чтобы в памяти вновь громыхала война.
Лишь закрою глаза – и в душе канонада
И в ушах, оттого, что оглох, тишина.

Тишина...
Сколько раз средь военного гула
Я мечтал, чтоб хоть часик побыть в тишине.
Тишина...
Вспоминая родной переулок,
Слышал я, как сады шелестят при луне.

Тишина...
Я не знал, что на свете дороже,
Чем пришедшая вдруг, после боя, она,
Тишина...
И осинник в предутренней дрожи,
И прильнувшая к берегу молча, волна.

А за речкой звенит, заливаются лихо
Соловей, будто гимны поёт в тишине...
А когда на земле и спокойно, и тихо,
Почему тишина у людей не в цене?

Гости форума «Белая акация»

МРАМОРНОЕ ОДЕЯЛО

Поэма¹

Песнь первая. Улов

Улица Ленина из окна дома-музея выдающегося, как гласила мемориальная доска, советского русского писателя, видного общественного деятеля Флорентия Ильича Губы в городе Безуслове смотрелась, как если бы приснилась кандидату филологических наук Одеялову. Вдоль булыжной мостовой строения вытягивались в каменную с изломом крыш линию, нарушенную посередине сквериком со скамейками и

¹ Журнальный вариант



Юрий
КОЗЛОВ

Проза



фонтаном возле кирпичного кулича водонапорной башни. Башня в уличном строю стояла вольно.

Дальше улица гипотенузой тянулась вверх, утыкаясь в травянистый холм с белым храмом и колокольней, как свечой, на вершине. Здесь улица Ленина теряла пролетарскую булыжность, разделялась на две грунтовые с избами и коттеджами, кустами шиповника и боярышника, ромашками и рододендронами в палисадниках, щиплющими траву сердитыми гусями и шныряющими курами.

Одни участки, заросшие бурьяном, крапивой, ольхой и хвощами, так что заколоченных домов было не разглядеть, выглядели, словно арендованные ночной нежитью. Как-то раз Одеялов, привлечённый мрачной, в духе художника Билибина, натурой, шагнул на такой участок, но тут же и замер, встретившись взглядом с бурым ушастым филином, устроившимся на сосне. Где филин, попятился Одеялов, там и ступа с бабою-ягой идёт-бредёт сама собой. Он не верил в нечистую силу, но стремился избегать всего, что с ней связано.

На других участках велось образцовое дачное хозяйство – с теплицами, грядками под полиэтиленом, европейским садовым инвентарём, скамейками-качелями на цепях, надувными бассейнами. Здесь был рай: всё цело, росло, созревало.

За холмом у реки под названием Улов раскинула черепичные крылья резная деревянная – под русскую старину – усадьба с многочисленны-

ми постройками, включая миниатюрный детский городок с горкой, тренажёрами и ажурной беседкой. Это было имение владельца местной обувной фабрики и депутата городского совета, где сам он редко – в Безуслове можно было ничем не интересоваться, но всё знать – появлялся, улаживая проблемы с партнёрами за границей. На всякий случай к имению был прирезан – пока не долгосрочным забором, а лёгкой металлической сеткой на столбиках – изрядный кусок берега огибающей холм реки. Некоторые столбики покосились, сетка между ними провисла, что свидетельствовало об утрате инициативы в наступлении на запретную водоохранную зону.

Проходя мимо усадьбы к ужатому общественному пляжу, Одеялов каждый раз вздрагивал от бьющего по ушам павлиньего крика, но самого павлина видел только раз сквозь открытые ворота. Павлин, выставив на него злой в серой пене зрачок, потряс хвостом, но кричать в тот раз не стал, давая понять, что презрение можно выразить и молчанием. Там филин, здесь павлин, помнится, подумал Одеялов, входя на гусиных ногах в холодную весеннюю воду.

Он приходил во временно выделенный ему на втором этаже музея кабинет разбирать сложенные в большие картонные коробки архивные материалы, связанные с жизнью и творчеством Флорентия Губы. Системного дневника, как Корней Чуковский, описывающий для потомства каждый прожитый день, Губа не вёл. А если вёл,

то, как Михаил Пришвин, прятал его от чужих глаз. За дневником Пришвина, однако, вёлся родственный присмотр. В бесцензурные годы его вытащили из жестяного ящика, закопанного в дачном саду, сделали достоянием общественности. Добрый дедушка-природовед, грибник, лесник, друг птиц и лисичек вдруг предстал матерщинником и ненавистником советской власти.

Дневники Губы, как кот Шредингера, существовали и не существовали. Кто-то утверждал, что есть. Другие – что нет. Губа в политику не лез, как хулиган на заборе, писал разную чушь на оборотных страницах рукописей, коробках из-под папирос; ресторанной салфетке, отклеившейся винной этикетке «Южная ночь», даже на животе пластмассовой куклы. «Пишу на всём, что вижу», – часто повторял он в интервью. Одеялова радовало, что в те годы в СССР не знали туалетной бумаги. Ему всё чаще казалось, что он втянулся в какую-то непонятную игру без правил и надежды на выигрыш. Как могла сохраниться салфетка с присохшим хвостиком кильки и размашистым помадным росчерком женских губ? Одеялов казался себе фокусником, вытаскивающим на потеху публики не кролика из цилиндра, а «сор» из картонного ящика. Из этого «сора», по утверждению Анны Ахматовой, росли стихи, «не ведая стыда». В музее щедро рассыпанный во времени и пространстве бесстыдный «сор» Флорентия Губы, как лягушка в царевну, превращался в бесценные «единицы хранения», включая такие, как автограф на книге очерков о героях труда:

«Коле в память о чудовищной нашей пьянке 13 октября 1971 года в совхозе имени Калинина».

Но что могло «вырасти» из выцарапанных на животе куклы слов: «Бабья сущность всё перетрёт»? Они выглядели, как оставленное маньяком на теле жертвы издевательское послание. Кто принёс в музей испачканную помадой салфетку с номером домашнего телефона Губы или хлопающую глазами одноногую куклу? Кто эти люди, зачем они всё это хранили? Ладно, кукла, но помадная салфетка с телефоном – губа к Губе! – смотрелась как психологический артефакт из пьесы абсурда.

Выиграть в непонятной игре нельзя, успокаивал себя Одеялов, а как насчёт проиграть? Да никак, нечего было проигрывать, кроме быстро утраченной им, пожилым вольноопределяющимся от литературоведения, как ехидно называли его музейные дамы, надежды, что его псевдонаучная деятельность в музее добавит что-то к путаной биографии и неуловимому образу Флорентия Губы. Образ, как дирижабль, то нависал над Одеяловым, наглухо закрывая небо, то сжимался в птичью точку на периферии горизонта.

Надежда, как одежда.

Одеялов сам не заметил, как начал мыслить нелепыми в духе Губы афоризмами. Он вдруг увидел себя в плацкартном вагоне, раздетым до трусов, играющим в карты с мошенниками. Слияние с объектом изучения, вспомнил он, есть первая стадия исследовательской шизофрении. Житейский «сор» Флорентия Губы уподоблял-

ся у свихнувшегося исследователя знаменитым стихам Ломоносова: «Открылась бездна, звёзд полна. Звездам числа нет, бездне – дна». «Флорентиниана», усмехнулся Одеялов, нет, слишком изысканно. Тогда «Губиана»? Похоже на игуану, хотя... Литературовед, подумал Одеялов, как скульптор, вырубает мысль из мрамора чужого текста, он не виноват, если получается... игуана.

«Мрамор – сон! Мрамору – верь!» – написал на титульной странице отвергнутого всеми литературными журналами страны, включая «Звезду Востока» и «Литературную Грузию», рассказа «Сныть» фотокорреспондент городской газеты Флорентий Губа. А если так, рубанул по хвосту мраморную игуану Одеялов: проявляя снимки в редакционном закутке, Губа задремал, темнота располагает, увидел во сне мемориальную доску над дверью отреставрированного через восемьдесят лет по федеральной программе «Культура. Личность. Память» особняка в Безуслове. Чем не звезда из ломоносовской бездны?

Тогда, правда, припомнилось ему, городишка назывался Демьянск, не то по фамилии убитого белогвардейцами начальника местного ЧК Демьяна Беднякова, не то в честь поэта Демьяна Бедного. Местные краеведы до сих пор спорили на эту тему, как и о том, где ставить ударение: БезУслов или БезуслОв? Девятнадцатилетнего чекиста Беднякова начальник контрразведки корпуса генерала Мамонтова приказал распять на кресте за расстрел отказавшихся записываться в Красную армию монахов местной обители.

Демьян Бедный посетил город в свите Троцкого, прибывшего сюда на знаменитом, оборудованном всеми удобствами, императорском поезде, где Наркомвоенмор, по слухам, купал в ванне с шампанским Ларису Рейснер.

Сколько же бутылок понадобилось, размышлял Одеялов, чтобы наполнить ванну и посадить туда вылезшую из чёрной чекистской кожи голую бабу? Если Лев Давыдович наливал охлаждённое, она могла простудиться. Если подогретое, весь вагон был бы в пене. А вокруг гражданская война, разруха, террор. Воистину, беда России в неисчислимости её богатств, подумал Одеялов. Демьяну Бедному приписывалась частушка: «Безуслов, Безуслов, славный город без попов».

Назвать древний Безуслов Бедным или Беднячком новая власть постеснялась, вышло бы слишком наглядно и саморазоблачающе. В углу страницы Флорентий Губа приписал карандашом: «Мрамор есть – меня нету». Карандашная строчка обесцветилась, но Одеялов ухватил игуану за едва заметный серенький хвостик – лишнюю в слове «нет» букву «у» – восстановил запись. Почему «Сныть» – трудно выводимый, но съедобный, если верить интернету, сорняк? При чём тут мрамор?

Ему нравилось приходить каждый день в музей, смотреть в окно, размышлять о цветущей – с филинами и павлинами, усадьбами и храмами – сложности провинциальной жизни. Ещё недавно Одеялов не подозревал о существова-

нии затаившегося между степью и лесом городка под смешным названием Безуслов. Этимология названия города, возникшего на месте скифско-сарматского поселения, терялась не только в веках, но и в словосочетаниях: без слов? без усов? без улова?

Без слов ничего в мире не происходило. Собственно, и Безуслов сохранился только потому, что подошедшему сюда с войском Тамерлану, гонявшему, как почтительно свидетельствовали арабские историографы, золотоордынского, спалившего пятнадцать лет назад Москву, хана Тохтамышша, «как зайца по степи», явилась во сне Богородица и упросила его пощадить Русь. Тамерлан послушался, но для остротки сжёг близлежащий Елец.

Без усов, возможно, но осевшие в пойме разрезавшей степь водяным мечом реки Улов казаки наверняка были с усами.

С самим уловом в исторической перспективе ясности не было. Он был понятием мистическим. Тамерлан мог вычерпать железной сетью здесь всё до дна. Одеялов решил, что улов, как кот Шредингера, салфеточный дирижабль «Губа», правильнее, мелькнула мысль, «Красная губа», пребывает в пограничном состоянии между «есть» и «нет». Приснившегося ему города нет, а Безуслов – вот он.

Он сам не знал, долго ли здесь пробудет. С некоторых пор ему редко кто звонил и мало кто беспокоил. Страна, как поезд, двинулась дальше, высадив его, как безбилетника, на дальней

станции, где «трава по пояс», как на безусловских с нежитью участках. Одеялов взялся искать приснившийся город с ломаной линией крыш, булыжной улицей Ленина, улетающим с холма в небо храмом с колокольной. Он вослед Губе повесил мрамору. «Что снилось, то сбылось!» – написал на коробке из-под папирос «Казбек», жирно поставив ударение над «ы» Флорентий Губа.

Песнь вторая. Сныть.

Страна – СССР, а следом Россия – ссаживала с поезда Одеялова и до того, как он оказался в Безуслове. Часто ему самому не хотелось ехать. Он быстро понял, что в его стране пассажир, поезд и билет существуют отдельно и вместе им не сойтись. Пассажир садится в вагон согласно купленному в государственной кассе билету, но поезд почти всегда едет не в ту сторону, а билет оказывается случайной, на каких писал бессмертные афоризмы Флорентий Губа, бумажкой: ни тебе гарантированной полки, ни чая, ни постельного белья. Машинист по громкой связи бубнит что-то непонятное. Проводник смотрит зверем: то ли высадит, то ли чемодан отберёт, то ли вручит под роспись повестку в суд или военкомат, хорошо, если не придушит в тамбуре. Но случаются чудеса – в дверь купе стучит, как дятел, начальник поезда в сером кителе и красной фуражке, приглашает избранного счастливца переместиться в вагон повышенной комфортности. Тогда вопрос о том, куда и зачем едет поезд, отходит на второй план. Не к обрыву, как только что казалось, а... в

прорытый кротом истории туннель. Как писали в горбачёвскую перестройку прогрессивные публицисты, иного не дано! Ну, а в конце туннеля, как известно, свет. Не для всех, конечно, но это детали. Одним до конца жизни сидеть во тьме и глине, считать копейки, другим – вознестись в райские, где дворцы и яхты, материальные выси. Кто сказал, что все равны? В смерти – да, в жизни – нет. Если только в конце туннеля не термоядерный, без разбора превращающий людей в граффити на бетонных стенах свет. На этот вопрос ни крот истории, ни машинист поезда, ни даже гоголевская птица-тройка, ответа не давали.

На ежегодных, посвящённых творчеству Губы литературных слушаниях учёная дама из безусловской библиотеки усмотрела в конфетном изречении пусть грубый, но честный ответ на шекспировский вопрос – что делать мужику, когда он, стыдливо опустила глаза дама, больше... не может? Флорентий Губа, напомнила она известные слова Гоголя о Пушкине, был русским мужчиной во всей полноте своего развития, каким этот мужчина, возможно, станет лет через двести. Дура, подумал тогда Одеялов, как ты не догадалась, что Х... – это Хрущёв, советская власть? Действительно, зачем Хрущёв, ЦК, ленинское политбюро, как, впрочем, и сегодняшнее начальство, «когда всё кончится?»

Хорошо перебраться в вагон бизнес-класса, размышлял, перечитывая рассказ «Сныть», Одеялов, но вход туда не по билетам, не по сло-

ву красной фуражки, а по готовности зарычать, показать пасть с зубами: не замай! моё! не трожь! отниму! Всё, как в мире животных, подумал он, откуда человек вышел, оставив дверь широко открытой. Отец взял, не отдал, или отдал не всё, а я бочком-бочком, «простите-извините» в тихий уголок под ветки, где мягкий мох, тепло и не видно. Погрелся и хватит. Умер отец – на выход! Я всё сделал правильно, в сотый раз повторил себе Одеялов: учение Маркса, прибавочная стоимость, звериный оскал империализма, офшоры, трасты, ценные бумаги, деловая карьера – не для меня, жизнь дороже!

Его завораживал этот, написанный Губой в 1954-м году, рассказ о том, как молодой колхозный механизатор – золотые руки, трезвенник, комсомолец, передовик труда – выиграл в лотерею мотоцикл «Иж-49». Парень на радостях выпил, вскочил в седло, помчался к невесте в соседнюю деревню, но не доехал – врезался в телеграфный столб и погиб. Губа далеко смотрел. Грубую (народную) ткань его рассказа уже через год после смерти вождя народов теребил ветер, зарождавшийся под сводами величественного с колоннами здания, или, как напишут потом литературные критики, коллективного барака сталинской России. Фантомный её образ с некоторых пор стал обретать черты утраченного рая, куда русский и ведомые им другие народы должны были вернуться, как евреи в землю обетованную.

Однако рядовой эпизод из рассказа «Сныть» колебал несокрушимую, казалось, сработанную

на века, конструкцию, разводил в пространстве логику здравого смысла и обобщённое в образе механизатора поведение русского человека. Родина дала ему всё и даже сверх того, что могла в то небогатое время – мотоцикл «Иж-49». Дала для счастья и труда, а не для того, чтобы он врезался в телеграфный столб и погиб. Но ветер сам решал куда дуть. Его было не управить, не заткнуть. Он согнал с советской земли фашистов, выдул, как стеклодув лёгкими, учёных и разведчиков атомную бомбу, задул в космос первый спутник и Юрия Гагарина, а через тридцать лет вдруг разнёс в пыль и щепки великий СССР. Цикл Ильи Муромца, подумал Одеялов, тридцать лет и три года на печи, а потом... Напечатать рассказ «Сныть» Губе удалось только после разоблачившего Сталина XX съезда КПСС в крепко вставшем за искренность в литературе легендарном журнале «Новый мир».

Сегодня многие понимали, а если нет, кожей чувствовали, что на очереди Россия, спорили лишь о том, с какого края зайдёт восставший с печи ветер. Пока он только разминал затекшие крылья, не переходя на личности, но уже приметил Одеялова, обдал могильным холодком, сдул с дерева, как осенний лист, перенёс в Безуслов.

Размышляя над траекторией загадочного русского ветра, Одеялов спустился во двор музея, где среди клумб и цветущих яблонь стоял над мраморной могилой с выбитыми датами рождения и смерти бронзовый Флорентий Ильич Губа. Стоял как наблюдатель индивидуального – в пределах

музейной территории – безветренного рая. Цветы были белые, розовые с красными точками, а на старой, завязавшейся узлом яблоне – даже с уклоном в небесную синеву. Бронзовый Губа был в универсального покроя – на любую эпоху и моду – пиджаке со звёздочкой Героя Социалистического труда на лацкане. Одной рукой он прижимал к сердцу книгу, другой как будто по-товарищески обнимал за плечо окружающий мир, дарил его людям.

Леонардо да Винчи, вспомнил Одеялов, считал, что душа изваяния живёт в выражении его лица, которое мистическим образом взаимодействует с теми, кто на него смотрит. В данный момент лицо классика смотрело на Одеялова, иронично скривив губу. Кто-кто, а Губа точно знал неподъёмную лёгкость своего подарка. Русский ветер, уже не как сонный Илья Муромец, а его предтеча – богатырь Святогор, удержать которого на своей груди не могла сама Мать-Земля, всегда выдувал любые, начиная с «Мир без аннексий и контрибуций!», «Земля – крестьянам!», «Фабрики – рабочим!», заканчивая мотоциклом «ИЖ-49», подарки из рук народа.

Гоголь, в голове Одеялова сложился тезис для будущей статьи, аллегорически изобразил русский ветер в образе птицы-тройки, не дающей ответа на вопрос, куда она несётся, Флорентий Губа – в образе колхозного механизатора, врезавшегося накануне свадьбы на выигранном в лотерею мотоцикле в телеграфный столб. На дру-

гой стороне улицы Ленина располагался педагогический колледж. Отшлифованный забегающими сюда в дни экзаменов учениками палец на руке писателя блестел на солнце, как если бы Губа целился в мир из золотого пистолета.

Одеялов попробовал допрыгнуть до иронично выгнутой бронзовой губы, но не достал. Он едва удержался на ногах, прокатившись подошвами по скользкой утренней траве. Стеблистая поросль сныти зелёным саморезом ввинчивалась в землю, тревожа орудовавшего там крота истории. Одеялов попробовал выдрать кустик, но в руке остались только листья, стебель сидел крепко.

Он снова вспомнил рассказ «Сныть». «Мы – земля, мы – сила!» – пустил слезу на поминках по механизатору председатель колхоза. «Вы – сныть! – возразил местный участковый, уточнив, что не по пьяни погиб парень, а потому что порвался тормозной трос, вот его и закрутило на траве. – Может, заводской брак, а может, кто из вас поиграл плоскогубцами. Человек в могиле, а вы до сих пор завидуете его лотерейному счастью!»

Называй ветер, как хочешь, зачем-то тоже подержался за сияющий на солнце палец Губы Одеялов, правдой, мерой, ценой, разницы нет. Тут тебе и СССР, и колхоз, и перестройка, и капитализм со зверино-ядерным лицом, и земля со снытью. Я всё сделал правильно, посмотрел, как распрямляется под ногами скользкая трава, но я не гонщик по крови моей. Поэтому, вздохнул, я один, поэтому я в Безуслове.

– Милый друг, – услышал он слегка хриплый, но волнующий его женский голос, – звонили из администрации. Вас ждут через час на совещании у мэра.

– Меня? – удивился Одеядлов.

– Вас, – подтвердила старший научный сотрудник Агриппина.

Музейные дамы звали её Грипой, а помощник директора по хозяйственной части – ремонтник широкого профиля, садовник и сантехник – пенсионер Степаныч, он же иногда Стаканыч – Грибком. «Грибок, – шевелил красными ноздрями, как бабочка крыльями, Степаныч, обходя музейные помещения на предмет обнаружения непорядка, – будешь курить в каминном зале – убью!». «Не волнуйтесь, милый друг, – помнится, успокоила Агриппина выглянувшего из кабинета Одеядлова, – не убьёт. Кожно-венерологический подтекст отсутствует. Степаныч знает меня с детства». – «Вот такой была», – отмерил трудовой ладонью от пола полметра Стаканыч. «В «Грибке» нет, – поддержал светскую беседу Одеядлов, глядя на длинную и гибкую, как удочка, Агриппину, – а в «Грипе» ковидный налицо». – «Верите в эту муть?» – внимательно посмотрела на него Агриппина. Она, как он догадался, была близорука, а потому немного щурилась. Человек, на которого она смотрела, мог ошибочно что-то себе нафантазировать. Так красавица Зинаида Гиппиус, если верить современникам, в упор наводила на молодых поэтов лорнет, те встряхивались, как кони, а она просто хотела рассмотреть их носы.

Почему-то именно эта часть мужского лица интересовала «белую дьяволицу», как называли её товарищи по Серебряному веку. «Верю, – честно ответил Одеядлов, – как в смерть». – «Ну да, – покачала головой Агриппина, – доктор Вернер верил, что умрёт, а Печорин – что имел несчастье родиться. У меня кандидатская была по Лермонтову, – объяснила, – а вы, – погрозила пальцем, – трусливый скептик» и, махнув длинной чёрной юбкой, как колоколом, юркнула в каминный зал. Неужели курить, удивился Одеядлов.

У Агриппины было узкое лицо, длинный, но тонкий аккуратный нос и царапающий воздух голос курильщицы. А ещё наблюдались сложности с буквой «р», слова вибрировали, шуршали, как фольга. Знакомясь с натянувшим «поляну» по случаю своего появления в музее Одеядловым, она сразу прояснила ситуацию: «Милый друг, уж сорок близится, а... – скользнула взглядом по его часам, – счастья нет, никак не могу закончить докторскую». И, едва только он отвлёкся, на ухо подруге – аспирантке Гале с густой, как одёжная щётка, чёлкой, но так, чтобы Одеядлов слышал: «Ещё один литературовед-«губист» по нашу душу».

Кличку «губист», где «у» сливалось с «э», музейный женский коллектив одобрил. Русский человек так устроен, не обиделся Одеядлов, кто ему непонятен или подозрителен, тот «гэбист». А куда деваться? Историческая память. «Докторская тоже по Лермонтову?» – спросил у Агриппины, напуская рукав на играющие бриллианта-

ми часы. Привык, дурак, точнее, отвык, что есть люди, разбирающиеся в часах и что их можно встретить в самых неожиданных местах, к примеру, в доме-музее Флорентия Губы. Так изысканный лебедь возьмёт да приземлится в болоте с лягушками. «Лингвистическо-стилистические особенности самовыражения масс в критические периоды исторического развития на примере творческого наследия Флорентия Губы», – ответила Агриппина, оглядывая стол с закусками и бутылками. Иронию духа над пошлостью плоти, прочитал в её взгляде Одеялов. Переборщил, подумалось ему, столько им не съесть, не выпить. Хотя, посмотрел на надевшего по случаю фуршета рыжий с размашистыми, как тюленьи лапы, лацканами, явно с чьего-то артистического плеча, пиджак Степаныча, на охранника в чёрной тюремной блузе, кто знает. Похожий на фазана Стаканыч и – на ворона – охранник выпивали и закусывали степенно, как и надлежит ответственным, знающим себе цену, птицам. «Самовыражение в литературе?» – уточнил Одеялов. «Не совсем, скорее, в письмах и смежных жанрах». – «Понятно, – с небрежной щедростью плеснул Агриппине в стакан дешёвого виски Одеялов, – эпистолярное наследие, анонимки, жалобы, доносы, что делать, кто виноват, как нам реорганизовать Рабкрин? Мысль народная в сокровенном слове Губы. Не расстраивайтесь, мне скоро шестьдесят, а я тоже не доктор. Тема интересная.

У вас вся жизнь впереди». – «Только хвост позади. Самое время съесть тунца», – задумчиво произнесла, отходя от него, Агриппина.

Он понимал, что специалистка по Лермонтову Агриппина щёлкает как орешки его печоринские штучки: интересуется, но не спешит; намекает, но без определённости – на раз, надолго, или слова, слова... Сверкнул бриллиантовыми часами в столетнюю зарплату музейного сотрудника с учёной степенью, накрыл поляну с трёхтысячным «Loch Lomond», как провёл коня с дорогим ковром на спине под окнами княжны Мэри.

Одеялов решил не спешить. Да, легка, как пластиковая удочка, узколица и длинноноса, как сосулька, единичная седина в гладких тёмно-русых волосах незаметна, глаза умные, смотрит, как будто лилипута на ладони в лупу изучает. Всё это от негативного, выросшего на дрожжах жизненных и карьерных неудач самомнения. Немного истерична, но это объяснимо. Одеялов как с экрана компьютера считывал с её лица заархивированную в паутине вокруг глаз историю: безрадостные романы; бездетность, возможно, от раннего – первая любовь, плачет девочка в автомате – аборт; жизнь с мамой – отец бросил, спился или умер. Читает много, любит музыку, но уже без живых чувств, на автомате, перспектив никаких. Только Флорентий Губа белеет на горизонте, как парус, точнее экран, который уже ничего не покажет. Но она надеется.

– По какому случаю совещание? – оторвался от созерцания белых, голубых, красных – в цвет российского флага – цветов на яблонях Одеялов.

– Знаю, но не скажу, – помахала Одеялову рукой с крыльца стройная, как молодая яблоня, как административная мачта, на которой колыхается флаг России, Агриппина. – Тайна. Скажу только, что это по теме моей диссертации.

– Вы тоже пойдёте? – обрадовался он, подумав, что Губа и завывший персонаж его рассказа – идиоты. Нет открытой раны, есть чайка – великий Чехов далеко смотрел! – тайна, волшебный, играющий лепестками, аленький цветочек. Счастье, которое всегда, хотя, далеко не всегда, с тобой.

Агриппина скрылась в музее, прищемив ему дверь сердцу.

...Мэр Безуслова Иванов представил его коллективу как беззарплатного, самозанятого исследователя творчества Флорентия Губы.

«Любить можете, – подмигнул Одеялову Иванов, оглядывая притихших музейщиц, – жаловаться бесполезно, он – мой друг. Что ему до Губы? Да то же, что и вам. Отец его всю жизнь дружил с Губой, воспоминания там, письма, может Губа трепал мальчонку по холке, учил делать жизнь... Как там у Маяковского? Товарища Дзержинского! Шучу, конечно. Правило власти знаете: друзьям – всё, вам – закон. Вы писали, – инстинктивно посуровел лицом мэр, – что

надо холодильник и плиту заменить. Будет вам и белка, будет и свисток».

«Холодильник советский – «Днепр», – пояснил народный ремонтник Степаныч, – ещё сто лет протянет, проблема в реле».

«Морозит, как Антарктида, – встряла аспирантка Галя из-под наехавшей на глаза щётки-чёлки, – яйца в лёд».

Чьи, чуть не ляпнул Одеялов.

«Для «Днепра» реле не найти, – солидно, как и положено техническому человеку, который не даром ест музейный хлеб, продолжил Степаныч, – сорок лет, как закрыли завод в Днепропетровске. Я через скрепку, напрямую протянул на максимум, на норму никак, поэтому, – покосился на Галю, – с яйцами беда. А если на минимум – течёт, испортятся яйца».

«Не коротнёт? – поинтересовался мэр, – не спалишь музей?»

«Исключено, розетка с заземлением и сетевым предохранителем».

«Понятно, – усмехнулся Иванов, – с яйцами у вас проблема».

«Ничего, мы знаем способ», – твякнула Щётка, но директриса дёрнула её за рукав.

Мэр Безуслова был широк лицом, туго откормлен, как и положено провинциальному начальнику. В провинции русские традиции, как и заправки руководителей, крепче, чем в европеизированных Москве и Питере. Одеялов читал у Чаадаева, что это пошло от татаро-монгольского

ига. В степях живот и загривок – символ власти, что-то вроде депутатского значка на лацкане. Человеку с животом и загривком не надо никуда скакать с копьём или арканом. Он сидит в юрте, ест бешбармак, ждёт, когда ему принесут дань или занесут за ярлык на княжение.

В музей Иванов заехал с утренней пробежки. В красном с чёрными вставками спортивном костюме и носатой бейсболке он напоминал крупного с налитым гребнем петуха. Музейные куры встретили его с лёгким почтением, а Одеялова – с юмором.

«Извините, как вы сказали – Пододеялов?» – невинно уточнила Щётка.

«Это на твоё усмотрение, – хмыкнул Иванов, – он парень видный и одинокий».

«Был», – расслышал Одеялов, но может это ему показалось. Ему часто казалось, что он слышит то, что сам о себе думает.

– Я готова, – слетела, с крыльца, помахивая пластиковой папкой, как стрекоза крылом, Агриппина.

– Доклад? – уважительно полюбопытствовал Одеялов.

– Справка.

– На тему?

– Цикличности русской истории.

Притворив ведущие в музей ворота, они двинулись по горбатой улице Ленина к центральной площади, где в крепком, начала девятнадцатого века, с лепниной и ангелом в нише между колонн

трёхэтажном здании обитала городская администрация. Иванов сказал Одеялову, что ангела недавно подновили, отчего лицо его сделалось скорбным. «Минкульт прислал реставраторов, взяли как за десять новых, – продолжил Иванов, – теперь ему дождь в лицо с правого крыла затекает. Слёзы ручьём, люди идут мимо, крестятся». – «Может, воруете не по чину?» – неудачно пошутил Одеялов. «Да нет, – не обиделся мэр, – в пределах допустимого, – перекрестился: – По нашей православной вере».

Агриппина шла не торопясь, но как-то извилисто, Одеялов едва поспевал за ней.

– Не так идёте, – остановилась она, смерив Одеялова, как линейкой, узкими серыми глазами. – Видите, я ставлю ногу между камнями, а вы...

– Иду по их головам.

– Все беды от головы, – вильнула юбкой, как парусом, Агриппина.

– У камней тоже, – добавил Одеялов, примериваясь, куда поставить ногу. Булыжники сердито толкались в подошвы. Похоже, им и впрямь не нравилось подставлять головы под дорогие с жёлтой кожаной подошвой ботинки Одеялова. Ему подумалось, что булыжник тоже символ цикличности русской истории. По нему неудобно ездить и ходить, но зато он всё скрепляет, стягивает в узел, который не развязать. Каменная сныть. А потом превращается... в оружие пролетариата. Тогда уже не сносить головы обладателям дорогих ботинок.

– И от денег, – вдруг остановилась Агриппина.
– От денег? – Одеялов, как булыжник в подошву, воткнулся ей в спину, обхватил за плечи, ощутив руками расплывчатые, но ещё упругие груди, а нижней частью тела то, что подразумевал, изящно цитируя Державина на промасленном пакете «Ростовский гамбургер» Флорентий Губа.

– Куда это вы разбежались? – Не сразу отстранившись, успев прочувствовать по-бабьи спланированную, как показалось Одеялову, телесную близость, иронично поинтересовалась Агриппина.

– Задумался о деньгах, – он чуть не наступил на неотличимую от булыжника, если бы не торчащие жёлтые глаза, лягушку. Она, по всей видимости, пробиралась к запущенному пруду по левую сторону улицы Ленина, откуда доносилось темпераментное кваканье. На краю пруда белым столбиком замерла, прицельно вода чёрным клювом, как секундной стрелкой, цапля. Куда торопишься, царевна, проводил взглядом лягушку Одеялов, с этими часами шутки плохи.

– Не волнуйтесь, в долг не попрошу, – Агриппина широко, так что юбка натянулась, как холст на подрамнике, шагнула вперёд, но тут же, ойкнув, припала на ногу.

– Осторожно! – подхватил её Одеялов. Камни под ногами по-военному перестроились в плотные без просветов шеренги, надев на головы скользкие каски. – Грипа, наши тела не противоречат друг другу, – пробормотал, подумав, что с цикличностью русской истории всё ясно. Лягуш-

ка и цапля, народ и власть, блок коммунистов и беспартийных, подошва и камень – едины, а на выходе – часы и царь-государь. Никто не знает, сколько они будут демократично тикать, пока вместо кукушки не выскочит царь-государь.

– Уже и Грипа. Быстро запрягаете, любезный.

– Но медленно едзу. Насчёт тел не обижайтесь, это из Юкио Мисима, – объяснил Одеялов, – само вспомнилось.

– Я же говорила, все беды от головы, – удостоила его летучей, как прыжок царевны-лягушки, улыбкой Грипа.

– От тела тоже, – добавил Одеялов.

– Голова – часть тела.

– И ещё от денег, – напомнил Одеялов.

– Они тоже цикличны, – медленно высвободилась из его заботливых рук Агриппина.

– В смысле, то есть, то нет? Или – почему у одних всегда, у других никогда? – Одеялов, стыдясь, пожалел, что у неё не случилось лёгкого растяжения связок. Тогда бы он понёс Грипу на руках до ближайшего рентгена – к чёрту совещание! – и их тела бы точно пришли к согласию.

– Если бы, – наморщила длинный носик Агриппина. От умных разговоров с телесным подтекстом её лицо, как и любой другой женщины, ожило и помолодело. – Беда в том, что деньги превыше отдельно взятой жизни, а может, – оценивая, словно он был в купюрах, как Ленин в словах, или в золотых флоринах, как карась в чешуе, посмотрела на Одеялова, – вообще, всего на свете. Но это злое превосходство.

– Как это? – Одеялов догадывался, что она хочет сказать, но хотел услышать точную формулировку, чтобы опустить её, как монетку в копилку собственных размышлений на этот счёт. Он вдруг вспомнил, что копилка в её классическом исполнении – это глиняная свинья с прорезью на спине. Почему свинья, а, допустим, не слон или носорог? Слоны в России прижились, но в виде белых по убывающей фигурок на комодах. Кажется, их должно быть семь. Почему? О чём думали люди, каждый день глядя на них, вечно и неизвестно куда идущих по комоду? Тут ясности нет, зато насчёт денег и копилки народ мудр и точен: свинья! О чём разговор, подумал Одеялов, такие и образы.

– Вы имеете деньги, – продолжила Агриппина, словно успела исчислить до копейки его рыбью денежную чешую, взвесить свинью-копилку.

– Допустим, – осторожно согласился Одеялов.

– Не вы конкретно, – поджала губки, давая понять, что ей решительно всё равно, имеет он деньги или нет, – а обобщённая личность, господин Никто.

– Понятно, хотя с деньгами обобщённая личность уже не совсем Никто, а Господин – точно.

– Плевать. Вы умираете, а они продолжают жить, поэтому даже в момент собственной смерти их будущее беспокоит и мучает вас сильнее, чем смерть.

Откуда знает, вспомнил один из последних разговоров с отцом Одеялов, какие у неё деньги, кроме зарплаты? Он забыл о телесных играх,

ощутив смутный тонкий страх, как определяя вечное состояние вовлечённого в чиновно-финансовый круговорот человека перед кажущимся безмолвием государственной машины философа Константин Леонтьев. Она, объяснял он, постоянно дремлет, но в любой момент готова, как Вий, поднять веки, и это на протяжении веков нервирует российский правящий класс.

– А если так, – Одеялову стало одновременно холодно и тревожно, как и всегда, когда он произносил то, во что не верил: – Жизнь человека продолжается в его деньгах.

– Вы хитрец, – рассмеялась Агриппина, – но мы пришли.

– Гриппферончик, и тебя дёрнули? – радостно поприветствовала Агриппину в холле молодая удалая сотрудница из секретариата мэра. – Нашто как расщедрился, – кивнула на похрустывающую над картонным стаканом у стены кофейную машину. – Вам в музей отписал, а нам диффузно-капельную с искусственным интеллектом сегодня установят.

Песнь третья. Щель.

На совещании Одеялов задремал, убаюканный рассказами Иванова о построенном во второй половине восемнадцатого века по проекту Василия Баженова храме в Лудовой Пустоши в ста десяти километрах от Безуслова. Добраться до него можно было только в сухую погоду. В дождь в степном чернозёме, как говорил побывавший

там на военных учениях мэр, вязли даже танки. Храм с готическими башнями, итальянскими окнами, вонзавшимися в небо шпилями, помнится, поразил Одеялова своей несочетаемостью с горизонтальным степным пейзажем. Он считался православным, но с оговорками из-за не одобряемых церковной общественностью масонских символов – весов, ножниц, молотков, мастеров, фартуков, пронзённых кинжалами полусфер на фасаде. Патриархия не выделяла денег на реставрацию, хотя и не мешала вести там службу. Правда, благочинными в этом либеральном храме были батюшки с подмоченной репутацией, поскольку он стоял на отшибе и прихожанам приходилось добираться туда на мобильных средствах передвижения. Один батюшка за неимением певчих, вёл проповеди под православный рок. Другой – устраивал для прибывших на велосипедах и скутерах молитвенников застолья с распитием отнюдь не церковного кагора. Самые рьяные прихожане потом не могли оседлать железных коней и оставались ночевать в храме.

– Вот так, – обвёл строгим взглядом записывающих за ним музейно-библиотечно-культмассовых тёток мэр, – масоны даже спустя два века разлагают русский народ. Самогон, правда, был как песня, – добавил, отвлекаясь от темы совещания, – одна старуха гнала по древнему рецепту на прелом жёлуде. Померла, и прощай традиция!

Потом, уже в полусне, Одеялов прослушал фрагменты дискуссии – почему именно на Лудо-

вой Пустоши Баженов поставил храм? Оказывается, ещё Пётр Первый, исследовавший местные залежи руды, обратил внимание на геомагнитную аномалию Пустоши. Будто бы он подбросил в воздух гвоздь, и тот, перевернувшись, замер в воздухе, после чего упал царю на сапог. Явно не к добру над куполами и шпилями храма кружились по вечерам коршуны, а в июне из сухой травы вылезали огромные белые грибы, которые местные жители продавали цыганам.

Окончательно проснулся, прижимавшийся во сне к не возражавшей против этого и, более того, призывно постанывающей Агриппине Одеялов, когда Иванов зачитывал пункты из подготовленной для утверждения на сессии городского совета программы мероприятий государственно-патриотического свойства. Исполнение её, оказывается, должно было начаться ещё или уже – обычный для России случай обнуления наречий бездействием – в начале года.

– А вы чем занимались? – насупился мэр, дав служивым дамам понять, что они занимались чем угодно, но только не воспитанием населения в духе патриотизма и уважения к традиционным духовно-нравственным ценностям многонационального народа России. На писк очкастой с заплетёнными вверх рожками-косичками креативщицы из досугового центра, что программные деньги дошли до них только в апреле в размере сорока процентов от утверждённой суммы, Иванов только поморщился:

– Ты, Крысинская, как вчера родилась. Бюджетные средства, как снег, сроков не знают, а тают при любой погоде!

Зарядив актив энергией, назначив сроки отчётности, пригрозив исполнительницам административными карами, мэр завершил совещание, оставив в кабинете Агриппину и Одеялова.

– С храмом надо что-то делать, – нервно подхватил со стола папку, зашелестел страницами. – Епархия готова передать нам на баланс как историческое здание. Была мысль превратить в музей масонства, но наверху не поддерживали, не то время, не та тема. А так бы пошёл турист. Безуслов – колыбель русского масонства! В общем, сошлись на историко-культурно-просветительском центре, рекомендовали посмотреть, как работает Ельцин-центр в Екатеринбурге. Ладно, не хотят научной экспозиции, сделаем в одной комнате игровую реконструкцию масонской ложи, поставим стол, гроб, закажем восковые фигуры, оденем в балахоны, они там шпагами махали, да? Это по музейной части, Агриппина, готовь предложения. Деньги, думаю, дадут, но не сразу и без радости. Затаились, какая-то там идёт возня. Пока от минкульты ноль, минцифра, я и туда сунулся, на паузе, историческое общество молчит. У тебя не прошу, – повернулся к Одеялову Иванов, – занимайся Губой как нашей второй достопримечательностью. Придумай ему какой-нибудь образ, чтобы вся страна вздрогнула: второй Гоголь или кто там жил и творил в Безуслове, а мы ни хрена не знали! Смотри по ситуации. Покатит в сторо-

ну совка – великий соцреалист, визионер в духе этого, как его... вот, вспомнил, Кочетова! В традиции – евразиец, антизападник, провозвестник нового русского пути! Придётся трясти нашего обувщика, – угрюмо добавил после паузы, – хватит сидеть в Италии! Хочет работать как налоговый резидент и патриот России, пусть займётся храмом, вот проект, смета, экспертиза, – похлопал по папке Иванов. – Нет – заберём фабрику, национализируем, акционируем, и вперёд с песней! Не развернёмся в этом году, разгонят к чёртовой матери. У губернатора племяш подросток, сколько ему сидеть на удобрениях? Раньше в Словакию гнал, на жизнь хватало, а теперь санкции.

– С песней, говорите? – уточнила Агриппина.

– Не любишь родные русские песни? – ухмыльнулся Иванов.

– Каждая песня – синопсис жизни, – почему-то глядя на Одеялова, ответила она, – моё дело припев. Сказали стоять в хоре – стою. Сказали петь – подпеваю. Вы – ближе к композиторам, вам и ноты в руки.

– Думаешь, я знаю мелодию? – Иванов скользнул взглядом по официальному углу кабинета, где над рабочим столом висел благообразно-стандартный, как икона, портрет президента. Рядом – деревянный герб с двуглавым орлом, а у высоких напольных часов – трёхцветный флаг на лакированной ноге. Часы как раз медно отсчитали очередную четверть часа. – Отряд не заметил потери бойца, но яблочко-песню допел до конца, – сказал Иванов. – Знаю, что у него денег

нет, пусть ищет! Зря, что ли я ему... – замолчал. – Пусть хоть у дьявола занимает, я из-за этого храма на кол не сяду!

Было время, Одеялов неплохо знал своего институтского друга. Размышляя над непростыми вопросами, Иванов обычно доставал из кармана зажигалку, вращал её в трёх пальцах, как фокусник. Сейчас в руке мэра пропеллером крутилась компьютерная флешка. Курить Иванов бросил давно.

– Вам решать, – пожала плечами Агриппина.

Одеялову показалась, что в её глазах мелькнуло то, что он когда-то видел в глазах своей жены и мысленно определял как усталость от жалости. Это определение не давало чёткого ответа – от чего она устала и кого жалеет: мужа, или себя? Прошло пятнадцать лет, но и сейчас в фантомных сновидениях он пытался что-то ей объяснить, размахивал руками, тряс за плечи, иногда даже бил ватной рукой по лицу, но она только молча смотрела на него. Женщины редко отвечают на вечный мужской вопрос – почему? Их усталость от мужчин необъяснима, как и любовь.

– Грипа, Грипа... – покачал головой Иванов, – неспетая песня моя. Я, собственно, тоже из припева, – остановил вращение флешки. – Так, поднялся на мелочовке, изображаю тут перед вами...

Одеялов понял, что песня была спета а, возможно, хотя мэр женат, многодетен и патристически воцерковлён, и сейчас ещё вполголоса поётся. Есть песни, которые не слушаются команд хоровых дирижёров. И Агриппина, быстро взгля-

нув на него, поняла, что он понял, но тут же дёрнула плечом, давая понять, что ей плевать, что он понял.

Иванов громко припечатал флешку к столу, словно играл в домино: – Рыба!

...Одеялов вздрогнул от неожиданности и на мгновение перенёсся в помещение, напоминающее музей даже не рыбной ловли, а рыболовного искусства в загородном доме отца под Выборгом. Там среди высушенных рыбьих голов, фотографий отца с выловленными в разных реках и океанах чудовищами светились никелем похожие на начинку космического корабля снасти, назначения которых обычному человеку было не понять. В этом интерактивном хранилище с эхолотами, глубинными видеокамерами, коллекциями блесен, насадок и воблеров можно было встретить и исторический народный рыболовный инвентарь: обычные и с раздвоенными крючьями багры, разных видов буры для просверливания во льду лунок, плетёные и сетчатые мерёжи, щучьи в виде рогаток капканы, кружки, перемёты, прочие приспособления, включая ловушки на выдр и бобров.

Отец коллекционировал предметы рыболовной старины. Он был адептом рыбалки нового типа. Не той простодушной, когда человек забрасывает удочку и, любясь окружающей природой, ждёт, что карась или окунь схватят червяка. И не той, когда рыба серебряным водопадом обрушивается на палубу сейнера. В доме отца была раз-

вёрнута схема замещения живой жизни выбранной им проекцией. Одеялов определил её, как «тотальная рыбалка». Трофеями были страшные, как если бы их вытащили из водяного ада, высушенные и покрытые лаком зубастые головы в шипах, бугристые в крокодиловых наростах тела зловещих существ. Не добавляли оптимизма и картины, изображавшие древних кистеперых латимерий и морских чудовищ. Библейский левиафан заглатывал, распахнув широкую, как ворота, пасть пророка Иону, чтобы тот познал в китовом чреве истину. Средневековые люди в шляпах и высоких сапогах разделявали топорами и секирами глазастого, напоминавшего выдранный из океанских глубин корень, кальмара. Не веселил и старинный русский лубок, где мужик в армяке и дурашливо заломленной шапке глушил лаптем в барском пруду зеркального карпа.

Отец любил по вечерам сидеть в своей кунсткамере с рюмкой коньяка или бокалом виски, пренебрегая электричеством, довольствуясь сумеречным законным светом. Одеялову казалось, что ему приятнее находиться в обществе уставившихся на него морских и речных чудовищ, в иероглифическом скрещенье спиннингов и багров, чем с ним, да, пожалуй, что и с любым другим человеком на свете.

Пока человек жив, однажды попробовал по примеру отца отдохнуть вечером с бокалом виски среди оскалившихся рыб и эхолотов Одеялов, жив и его мир, даже такой глубинный, как этот. Но выдержал в тревожной полутьме недол-

го. Рыба-меч снялась со стеллажа, прицеливаясь рубануть его по горлу, багор на стене задёргался, как копьё, спиннинг хлестнул в тишине леской, как пастух кнутом. Человек умирает, расплескав виски, летучей рыбой вылетел из кунсткамеры Одеялов, его мир превращается в труху, в склад хранящих ему верность обречённых вещей. А если умер в нищете и без вещей, то, как и не жил человек. Отец, понятное дело, жил, но кому теперь нужно его сухое подводное царство?

Некоторое время в кунсткамере ещё тлело остаточное пугающее очарование свирепых экспонатов и странных картин, но вскоре они окончательно превратились для Одеялова в мусор, от которого надо избавиться. Подводная золотая карета врезалась в наследственно-генетическую тыкву. Мир, возникший в голове отдельно взятого человека, не имеет шансов на продолжение после его смерти. И ведь не только в обыденной жизни, вспоминал Одеялов Александра Македонского, Чингисхана, Наполеона, Гитлера, других «потрясателей Вселенной», но и в исторической перспективе. А ещё он подумал, что колесо истории, катящееся своим путём, подобно кассетной бомбе, разделяется на мириады микроколёс, колесующих по принципу «каждому – своё» людей внутри исторического процесса. Одни философы называли это Промыслом Божьим, другие, к примеру, Кант – «дурной бесконечностью». Она, по его мнению, проявлялась в том, что, в отличие от исторической пьесы на сцене, человек в зрительном зале жил коротко и каждый раз умирал

как дурак, не только не досмотрев её, но даже не представляя, что будет дальше. Поэт Владислав Ходасевич вослед Канту полагал, что человек, как «Бога не узревший скот», не способен разрешить это противоречие. На пути в Вечность, по мнению Ходасевича, были установлены два пропускных пункта: Голгофа и Крест. Остальные – мимо. Похожей точки зрения придерживался и Велимир Хлебников. В его записях среди бесконечных цифр и диалогов с марсианами мелькнуло революционное определение – «скот истории». Одеядлов даже вообразил себе этого скота, тупо пережёвывающего вместо травы людей.

Я не готов, честно признался себе он, и не вижу вокруг, кто готов. Или, задумался на мгновение, не хочу видеть? Да какая разница! Опции «Голгофа», «Крест», «Гвозди» ушли из мобильного приложения «Христианство». Они исчезающе мерцали в персональных устройствах отдельных, жертвенно бросающихся под копыта «скота истории» или его аватара – «политического скота» – пользователей. Дальше – синий экран, перезагрузка.

Откуда «рыба»? – с подозрением посмотрел на задумавшегося Иванова Одеядлов. Он ничего не рассказывал ему про хобби отца, но, собираясь в Безуслов, наугад сорвал со стены кунсткамеры спиннинг и пару удочек, вспомнив, что Иванов говорил что-то про рыбалку. Когда приехали на место, где разорвавшийся на ленточки Улов впадал в Дон, расчехлили снасти, мэр попросил

у Одеядлова спиннинг и долго его рассматривал. «Второй раз в жизни вижу «Kosadabraveplatini-umpana», – бережно, как младенца, вернул спиннинг Одеядлову. «А когда первый?» – спросил Одеядлов, понятия не имевший что это за «pana», ощущая себя Чичиковым, давно не бравшим в руки... не шашек, но спиннинга.

Точно такую же глухую тоску Одеядлов испытал, слушая отцовского финансиста, специально прилетевшего к нему из Женевы. Тот перелистывал на экране секретного ноутбука сканы договоров, протоколы заседаний и решений правлений, проспекты эмиссий, отчёты аудиторов, балансы нотариально заверенных и юридически подтверждённых долей в разных АО, ПАО, ООО с непроизносимыми названиями. Струящиеся, змеящиеся, прыгающие цифры казались Одеядлову приплывшими по его душу пираньями. «Всё подчищено, – подвёл итог финансист, ваш отец перевёл активы на безопасные счета, но... сами понимаете, вы живёте в России». Михаэль, так звали финансиста, предложил Одеядлову свои услуги. Одеядлов ответил, что учитывая сложившуюся ситуацию и скудость доступных ему средств, он вряд ли сможет платить ему столько, сколько платил отец. Глядя на ухоженного, безупречно одетого, с несколькими гражданствами, одинаково свободно говорящего на русском, немецком, французском и, естественно, английском языках финансиста, он даже не пытался угадать, сколько. Михаэль казался ему человеком, олицетворявшим стандарты мира, где легко

освоился отец, но даже не пытался освоиться Одеялов. Он точно знал, что это не его мир. А какой его – не знал. У него не было своего мира. Он не сомневался, что отцовский финансист это видит. Если бы тот хоть словом, хоть бровью выказал своё естественное превосходство, Одеялов немедленно послал бы его куда подальше. Как говорится, с деньгами хорошо, но... вы живёте в России. Михаэль, по-доброму улыбнувшись, как бы удивляясь простодушию Одеялова, заметил, что у него есть определённые обязательства перед его отцом. «Вам не следует беспокоиться, – дружески положил загорелую руку на нервно подрагивающую мягкую руку Одеялова. – Ситуация на паузе, но, я уверен, что эта пауза в вашу пользу. Я буду держать вас в курсе, как только будут новости, выйду на связь».

– Я нашёл интересную фотографию Губы в архиве отца, – обратился к Агриппине Одеялов, уходя от вострающего по его душе рога, не важно, исторического или политического «скота» в другую тему. Ему хотелось продолжить начатый разговор о жизни в деньгах и её же в них завершении, но не сейчас и не в присутствии Иванова. Отец Одеялова был в океане цифр глубоководной рыбой. Иванов – резвился в верхних слоях, его (теоретически) могла выхватить из воды и некрупного размера птица типа безусловского обувщика. Могла, но пока он сидел в кабинете и строил планы. В отличие от отца, лежащего на Кунцевском кладбище в Москве под памятником

с ангелом, обхватившим руками надломленный крест. Эскиз отец в мельчайших подробностях заранее согласовал со скульптором. Глубинная бомба, подумал Одеялов, торпеда с подводной лодки, батискаф, или... все под Богом? «Никто не в силах отобрать у старика право умереть от инфаркта или инсульта как, впрочем, и по любой другой причине, – шутил отец, отмечая свой юбилей в женевском отеле «PresidentWilson». – Не каждому удаётся, как мне, дотянуть до 0,75». Дотянул, но не сильно задержался. – Они поймали огромного угря в Саргассовом море, – продолжил Одеялов. – Я думал, это свёрнутый шланг, а потом пригляделся – угорь.

– Саргассово море – единственное, не имеющее берегов, – продемонстрировав неожиданные познания в географии, Иванов встал из-за стола, направился к шкафу.

Одеялов решил, что за бутылкой, но оказалось, за серой морщинистой папкой «Дело №...» с тесёмками. Мэр осторожно извлёк из неё ветхую страницу с выцветшей машинописью. «1937», ухватил взглядом чернильную дату Одеялов под смазанным прямоугольным штампом с чьей-то размашистой подписью. Губе тогда было семь лет, вряд ли это о нём, подумал он.

– Ваш отец в девяносто пятом году брал с собой Губу на рыбалку, они арендовали яхту на Флориде, – внесла ясность в дело о пойманном угре тоже заинтересовавшаяся папкой Агриппина. – Он, кстати, в тот год оплатил издание его рассказов в PenguinRandomHouse. Американцы

понятия не имели, кто такой Губа, они даже Бродского в этом издательстве не печатали, но тут не смогли отказаться. Губа потом опубликовал об этом путешествии статью в газете «Завтра» – «Я – рыба!»

– Я – рыба? – переспросил мэр, шурша страницами в папке. – Бред какой-то!

– Не скажите, – вступилась за Губу Агриппина, – он там встретил кубинца, видевшего в детстве Хемингуэя. Он тогда жил на острове Ки-Уэст, ловил марлинов и писал роман «Иметь и не иметь». Кубинец, уже со слов своего деда, рассказывал, какие любопытные соревнования устраивал в питейных заведениях Хемингуэй.

– Кто больше выпьет? – усмехнулся Иванов.

– Если бы. Этим удивить трудно.

– Я давно понял, – разозлился Иванов, – что этот... Флорентий – идиот! Всю жизнь над всеми издевался! Я читал его рассказ о бабе, которая вырабатывала в интиме электричество, была током мужиков.

– Платоновская традиция, – возразила Агриппина. – Баба – это социализм, русский народ, Россия, а мужики – власть, не знающая, как жить с бабой, готовой осветить весь мир. До сих пор не знают, – перевела взгляд с мэра на Одеялова.

– А почему тогда он – рыба? – не успокаивался Иванов.

– В данном эссе, – распевно заговорила Агриппина, – Флорентий Губа посредством творческой фантазии уподобил себя рыбаку Сантьяго из повести Хемингуэя «Старик и море». О чём

эта повесть? Старик поймал большую рыбу, но не смог поднять её в лодку, и рыбу съели акулы. Наш писатель, по-видимому, имел в виду свой литературный талант, который обглодало время, в какое ему выпало жить. А может, – посмотрела на озадаченно примолкших Иванова и Одеялова, – уподобил свою жизнь в СССР съеденной акулами рыбе. На этот счёт есть разные мнения, даже такое, что под растерзанной рыбой Флорентий Губа подразумевал СССР. Ну, а кого писатель имел в виду под акулами, каждый посетитель нашего музея решает сам.

– Молодец! – похвалил Иванов. – Хорошо закончила. На позитивной, побуждающей экскурсантов думать и спорить, ноте. Может, гонорар ему американцы не заплатили?

– Вряд ли. Если ваш отец, – повернулась к Одеялову Агриппина, – оплатил издание, надо думать, он предусмотрел и гонорар. Другое дело, что Губа об этом умолчал.

– Вот хитрюга, – покачал головой мэр, – и рыбку съел, и вони подпустил. – И имечко себе выбрал: цветочек, нежный взгляд, трепет ланит... Когда, говоришь, он стал Флорентием?

– Фрол, – сказала Агриппина, – при рождении он получил имя Фрол. По легенде, позже назвал себя Флорентием в тридцать седьмом, когда отца арестовали за контрреволюционную деятельность.

– Сколько же ему было?

– Собирался в первый класс, но в школу не взяли. Хотели отправить в лагерь для детей вра-

гов народа. Спасла тётка из Тамбова, увезла в деревню, у неё муж был егерем в охотхозяйстве.

– А что с матерью? – спросил мэр.

– Она неграмотная была, всю жизнь работала на бойне. Не тронули. Возможно, почуяли что-то родное.

– Тридцать седьмой, какая тогда была жизнь? – продолжил Иванов. – Шаг влево-вправо – расстрел! Какие имена были в моде? Рэм, Вил, Ким, Октябрина, Револьт... – замолчал. – Это... что? – повернулся к Агриппине. – Электрический мужик, Революционный вольт, план ГОЭЛРО?

– Revolte, – с ударением и растяжением на последнем слогe произнесла Агриппина. – В переводе с французского – мятеж, в пролетарском понимании – восстание против зажавшейся капиталистической сволочи.

И опять в её взгляде, как показалось Одеялову, мелькнула усталость, но не от жалости, а от чувства собственного превосходства. Бабья жалость многолика, как жизнь, подумал он, а чувство превосходства в самой бабьей природе. Губа писал, что в старости мужики физиологически и ментально превращаются в баб, а бабы – в мужиков. Не умер в шестьдесят – живи, как баба! Так, кажется, говорил какой-то старик в его рассказе.

Интересно, о чём Агриппина с Ивановым разговаривали не «до», это неинтересно, а «после», задумался Одеялов? Наверное, он говорил, что скоро станет губернатором, или, бери выше, переберётся в правительство. А на новой долж-

ности, как обустроится, сразу разведётся, вызовет её, и они... А она, наверное, смотрела, куда улетило бельё, мэр – пацан горячий.

– Револьт лучше, чем Флорентий. Был бы, как Матвей Грубиян – еврейский поэт, писал о звёздах, кажется, дружил с нашим Демьяном Бедным. А ещё я думаю, – гнул недоброжелательную по отношению к классику отечественной литературы линию мэр, – он другую рыбу имел в виду. Резал на наживку и забрасывал...

– Зачем? Куда забрасывал? – не выдержал Одеялов, сам придумавший сцену с разлетевшимся бельём, и сам же от неё расстроившийся.

– Политическую рыбу, – насупился Иванов, – чтобы мы, значит, его галиматью хватали, а он нас за губу! Ладно, – крикнув, поднялся из-за стола, направился к шкафу с резной дверцей, – тут без пол-литры не разберёшься.

– Я пас, – посмотрела на часы Агриппина, – у меня экскурсия через двадцать минут.

– Ничего, удержишься. Слово и дело государево! – поднял вверх указательный палец мэр.

– Караул устал, – сказала Агриппина.

– Не понял юмора. – Иванов извлёк из шкафа бутылку, неполную в фольге шоколадку, разлил в рюмки коньяк. – За наши традиции! – чокнулся с Одеяловым. – Не хочешь – не пей, – разрешил Агриппине, с трудом разломив шоколадку.

– Это донос, – осторожно поднял он за краешек жёлтую страницу из папки. Анонимный, как водится, напечатанный на машинке, чтобы не определили по почерку, зарегистрированный, с

входящим номером и визой тогдашнего начальника горотдела НКВД лейтенанта госбезопасности товарища Семёнова.

– Если на отца Флорентия Исааковича, он до сорок второго сидел в лагере, а потом был отправлен в штрафбат смывать вину кровью, надо сделать копию для музея, – потянулась к бумаге Агриппина.

– Да подожди ты, – отмахнулся Иванов, – тут другая тема. Кстати, почему Исааковича? Он же Ильич, как Ленин?

– До революции отец звался Исааком.

– Да за одно имя могли посадить! Хотя, тридцать седьмой – это не только террор, ежовые рукавицы, но и двадцатилетие революции, столетие смерти Пушкина, ещё какие-то юбилеи, – задумчиво произнёс Иванов.

– Пушкин тоже был в Безусловие? – Одеялов вспомнил, что «Год Пушкина» недавно объявили в России бессрочным.

– Пушкин, не знаю, хотя, есть версия, что проездом на Кавказ, а Ежов точно приезжал в Демьянск пятого ноября тридцать седьмого года. Причём не по расстрельным делам, а как секретарь ЦК ВКП(б) на открытие памятника комсомольцам-героям Гражданской войны и закладку... – заглянул в бумагу Иванов, – вот... капсулы с «Письмом в будущее» – обращением к потомкам, чтобы потомки достали его из капсулы и торжественно зачитали через двадцать лет. Получается, в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году: такую они назначили дату. Тогда у времени была

другая скорость. Двадцать лет – для них целая жизнь, – налил по второй мэр.

– Сколько, интересно, было в тридцать седьмом в Демьянске пишущих машинок? – Одеялов снова вспомнил философа Константина Леонтьева, писавшего о вневременном страхе русского служивого перед жерновами государственной машины. В тридцать седьмом жернова не только перевыполняли план, но и мололи на корм «скоту истории» в резерв. И страх был не тонкий, по Константину Леонтьеву, а толще некуда. Сколько лет прошло, подумал Одеялов, а наш паровоз до сих пор на тридцать седьмом, как на якоре.

– Сто девяносто три штуки в госучреждениях и у граждан. Все оперативно проверили, но с западающей буквой «щ», какую искали, не нашли, – выпил залпом мэр. – Хитёр бобёр, или хорошо спрятал, или где-то в другом месте нашлёпал. Он, – кивнул на бумагу, – а может она, – с подозрением посмотрел на склонившуюся над страницей Агриппину, – информирует органы, что на обороте «Письма в будущее», собственноручно положенным сталинским наркомом товарищем Ежовым в стальную гильзу от артиллерийского снаряда, неизвестный злоумышленник невидимыми чернилами, которые, как потомки вытащат письмо, обязательно проявятся, написал своё клеветническое обращение, порочащее достижения советской страны. Вот... – вытянул страницу из-под носа Агриппины, – цитирую: «...исполненное лютой злобы, ненависти и хулы на героический советский народ, партию боль-

шевиков и гения всех времён и народов товарища Сталина!» А узнал об этом доносчик из случайно услышанного разговора двух граждан в городском планетарии на лекции об астероидах. Они шептались у него за спиной, а он вместо того, чтобы на астероиды смотреть, проявил бдительность. Хотел их запомнить, чтобы потом опознать, но в зале было темно, а когда включили свет, граждан, естественно, и след простыл. Он осмотрел места, где они сидели, но ничего не обнаружил, только шелуху от семечек и окурков. Анализы на ДНК тогда не делали, – сказал мэр.

– Где этот памятник? – Одеялов много гулял по Безуслову, но такой не встречал.

– Немцы взорвали в сорок третьем, стоял на центральной площади. Геодезисты проверяли металлоискателем – не нашли. Вряд ли капсула уцелела после взрыва. Но вдруг? Можно, конечно, снять аккуратно три плиты, проверить...

– Зачем, – перехватила бумагу Агриппина, – если даже у лейтенанта госбезопасности товарища Семёнова хватило ума не лезть под памятник: «Доложено тов. Ежову. Считаю данную информацию измышлениями душевнобольного человека. Приказываю провести дознание в медицинских учреждениях соответствующего профиля».

– Хватило, – согласился Иванов, – рвать бетон под памятником героической молодёжи, его бы самого в эту капсулу забили.

– Но если в планетарии шептались двое, – включился Одеялов, как многие люди в России, тревожно интересующийся работой карательных

органов, – а писал невидимыми чернилами третий, речь идёт об ОПГ – организованной преступной группе.

– Потому и списали на сумасшедшего. Ему и сто человек могло привидеться в планетарии, прилетели на астероидах, всё понятно.

– А почему снаряд, или как её... гильзу в пятьдесят седьмом не вытащили? – сфотографировала на телефон страницу Агриппина.

– Не суетись, отдам папку, посмотрите, что взять для музея, – успокоил её Иванов. – Не вытащили, потому что городской архив сожгли в сорок втором, когда отступали. Кто помнил о гильзе с каким-то письмом после войны, когда неразорвавшиеся снаряды грузовиками вывозили? И дальше не до того. Двадцатый съезд, культ личности, репрессии осудили, а тут привет от товарища Ежова. Папка уцелела случайно, потому что была в архиве НКВД, там не забалуешь, у них – «Хранить вечно», успели перед носом у немцев вывезти. Нам передали с Лубянки по описи для служебного пользования, когда всё раскрывали при Ельцине, ну, там для историков, краеведов. Даже каким-то общественникам, мемориальщикам выдавали. Тридцать лет уникальные документы валялись в отделе служебной документации, шестнадцать глав администрации сменилось, никто даже пыль не сдул! Кто, Пушкин сказал, что мы ленивы и не любопытны? Землю делили, коттеджи строили, выборами занимались... Но это ещё не всё! – упёрся взглядом в бутылку мэра. – Дальше, вообще, мистика.

– Батюшки-святые! – всплеснула руками Агриппина. – В театр не ходи! Ещё и мистика.

– У вас музей, как театр, – не одобрил её игривый артистизм Иванов. – Ноль запросов в муниципалитет по рассекреченным историческим документам советского периода, я проверял! Как деньги на командировки по местам, где жил и работал Губа, так дай. И не в Солегорск за Полярным кругом, где он собирал материалы про подземный город, а в Коктебель, где летом пузо грел. Нет, чтобы самим задницу оторвать, посмотреть, где какие документы... – махнул рукой.

– Что за подземный город? – Название показалось знакомым, но Одеялов никак не мог вспомнить, где он слышал или читал про этот Солегорск.

– Да один из безумных сталинских проектов, типа железной дороги вдоль Севморпути, туннеля на Сахалин, орошения Каракумов. Вечную мерзлоту эки долбили, какую-то радиоактивную соль добывали, – объяснил Иванов.

– Не такие уж и безумные они были, – заметила Агриппина.

– Мистические, – сказал Иванов, – как вся жизнь при Сталине. Я тебе про нашу, местного значения, мистику расскажу... – замолчал. – Звони в музей, что у вас экскурсию некому провести? – Вытащил из папки другую страницу, подождал, пока Агриппина звонила. – Вот это уже ближе к телу... Губы. Здесь донос на него, смотри-те дату – пятое ноября пятьдесят седьмого года, то есть день в день через двадцать лет, как должны вытащить гильзу с письмом.

– Значит, кто-то помнил, – сказала Агриппина.

– И написал донос на товарища Губу, – продолжил Иванов. – Опять анонимный, на машинке, причём, что удивительно, на той же самой, есть акт экспертизы.

– Снова не нашли? – Нога Одеялова под столом случайно коснулась ноги Агриппины. Он отодвинул свою, но тут же снова придвинул, убедившись, что её нога осталась на месте. Некоторое время две ноги пребывали в пугливой близости, но потом Агриппина отодвинула свою ногу.

– Не искали! – хлопнул рукой по столу Иванов, как если бы видел, что происходит под столом. – В пятьдесят седьмом без ордера с прокурорской визой пишущие машинки уже не изымали. На всякий случай проверили амнистированных предателей Родины, полицаев, бандеровцев, кто сотрудничал с фашистами, ознакомили с доносом Губу, он тогда в газете работал. Уже не фотокорреспондентом, а бери выше, обозревателем! Тот, конечно, ни сном ни духом. Первая книга в типографии, на совещание молодых писателей вызвали в Москву, сам Симонов прислал письмо из «Нового мира». Решили, что какой-то завистник сводит счёты.

– В чём же завистник его обвинил? – поинтересовалась Агриппина.

– Да полная галиматья, – брезгливо, как если бы она была в грязи, или в чём похуже, поднял за уголок бумагу мэра. – «Довожу до сведения правоохранительных органов информацию о странных, если не сказать, провокационных действиях

сотрудника молодежной газеты «Комсомольское племя», кандидата в члены КПСС, начинающего писателя Флорентия Губы. Общественность города Демьянска осуждает его попытки привлечь внимание к так называемому «Письму в будущее», до сих пор находящемуся, по словам Губы, в гильзе от артиллерийского снаряда на месте мемориала комсомольцам-героям Гражданской войны. Открытие мемориала состоялось на Площади имени Кагановича (сейчас XX партсъезда) в 1937-м году в присутствии тогдашнего руководителя НКВД, сталинского палача Н.И. Ежова. Несмотря на разъяснения сотрудников краеведческого музея и участников Великой Отечественной войны, что памятник был взорван фашистами, а мраморная часть мемориала уничтожена гусеницами тяжёлых танков во время прохождения через Демьянск дивизии «Герман Геринг», Флорентий Губа не оставил попыток самостоятельно определить точное местоположение гильзы с пресловутым письмом. Его не остановило даже то обстоятельство, что два года назад площадь была заасфальтирована, а на месте мемориала установлены павильоны «Пиво-воды», «Цветы» и киоск «Союзпечать». В разговорах с сотрудниками, посменно осуществляющими продажу печатной продукции, Губа под предлогом подготовки статьи для газеты интересовался условиями их труда, предлагал подать в исполком горсовета заявление о необходимости замены киоска по причине его изношенности и неудобства для работы на новую модель большего размера и

улучшенного качества. Полагаю, что таким образом в момент утилизации киоска он планировал осуществить противозаконные раскопки, имея в виду извлечение гильзы», – шумно выдохнув, положил бумагу на стол Иванов.

– Где же состав преступления? – спросила Агриппина. – Всё недоказуемо, даже наоборот – Губа, как Горький, романтик, борец за историческую правду. И, опять-таки, какой материал для «Комсомольского племени» – о чём думали и мечтали советские люди в роковом тридцать седьмом году. Тут, если карта правильно ляжет, слава на всю страну. И в трагическом тридцать седьмом они верили в коммунизм, даже репрессии Джугашвили не согнули наш народ! Опять же, цифры красиво бьются. Двадцатый съезд – вот ответ партии на обращение потомков, написанное двадцать лет назад. Начальство такое любит.

– Эко тебя завернуло, – задумался над сказанным Иванов, вертя в пальцах коньячную пробку.

– А вдруг он знал про невидимые чернила? – спросил Одеялов.

– Как? От кого? – подбросил вверх пробку Иванов.

– Два варианта, – предположила Агриппина. – Или в КГБ сказали, но это вряд ли, такой информацией они не делятся, или – от того, кто написал донос.

– Детектив! – щелчком согнал пробку со стола мэр. – Но это только первое действие, дальше ещё интереснее, – вытащил из папки следующую

страницу. – Как же он называется... Этот... ну, змей, хватающий себя за хвост.

– Уроборос, – подсказала Агриппина. – Вы его видели на баженевском храме в Лудовой Пустоши, ещё спрашивали, что там за баранка на фасаде?

– Точно! – обрадовался Иванов. – Вот что дядя дальше пишет. «Считаю долгом коммуниста... во как!.. проинформировать компетентные органы о бытовом, морально-нравственном и идейном разложении кандидата в члены КПСС Флорентия Губы, проживающего в настоящее время на съёмной жилплощади в доме номер семь по улице Фабрициуса. Указанный дом вместе с приусадебным участком принадлежит по праву наследования гражданке Ериной Н.Н., вернувшейся из мест заключения после отбытия срока за хищение кормов со склада племзавода «Знамя труда»... Нина Николаевна, – отвлёкся от бумаги Иванов, – я её помню, красивая была, шустрая, как змейка, но без зубов. В мужской соломенной шляпе ходила. Умерла в нулевых, гуляла напропалую. Соседки стыдили, по тебе, Нинка, гроб тоскует, а ты всё мужиков за... понятно, за что, хватаешь. Вот и зацепила Губу. Без зубов, но... ладно, – кашлянув, замолчал

– Он её увековечил в рассказе «Ересь», – сказала Агриппина.

– Тоже электрическая баба? – хмыкнул мэр.

– Колдунья, видела будущее, деньги чуяла, но, кому с этим делом помогать, сама решала. По рассказу её дом сожгли, а она то ли сгорела, то ли вылезла через лаз в погребе.

– Я говорю, змея, – налил в стакан воды, выпил, как водку, одним глотком Иванов. – Глотка пересохла. Брежнев, читал в воспоминаниях, чуть живой был, еле челюстью ворочал, а доклад на последнем съезде три часа, не сходя с трибуны, отдолбил. Вот что значит коммунист! А сейчас что? Полстраницы – отдышаться не могу. Измельчал народ, – почему-то посмотрел на Одеялова мэр. – И ведь, – добавил с недоумением, – бегаю по утрам, в фитнес хожу.

– Не бережёте вы себя, – подала неискренний голос Агриппина, – всё о Безуслове, о России, о людях...

– Деньги чуяла, а села за кражу кормов. Нелогично. – Одеялову рассказ «Ересь» не понравился.

В архиве музея хранилось письмо заведующего отделом прозы журнала «Октябрь», где тот советовал Губе не охмурять читателя колдовскими чарами героини, а резко усилить антирелигиозную направленность рассказа. «Шалаву на крест не променяю!» – оставил на письме хамскую пометку Губа.

Аспирантка Галя предлагала поместить письмо на стенде, спрятав неприличное слово под фотографию вручения Губе Государственной премии СССР по литературе в Колонном зале Дома Союзов. Агриппина не разрешила. «Будут спрашивать, что он не променяет, – сказала она, замучаешься отвечать». – «А вот и не замучаюсь. Пусть читают статью Губы «О единстве религии и атеизма», – возразила она. – «Патриарх за эту статью выгнал его из зала, где Всемирный рус-

ский собор заседал. На всю Россию был скандал, Губу чуть анафеме не предали», – напомнила Агриппина. Одеялов с первых дней в музее обратил внимание, что аспирантка Галя ведёт себя, как «Агриппина наоборот». «А вы что думаете?» – тряхнув чёлкой-щёткой, поинтересовалась она у Одеялова. Думаю, что вы мужика не поделили, чуть не сказал он. Только кого? Иванова? Вряд ли. Губа давно умер. Других мужиков поблизости не наблюдалось, но это не означало, что их не было. «Вечный вопрос русской классики, – ехидно улыбнулась Агриппина, – даже Розанов не смог ответить». Агриппина, и это тоже заметил Одеялов, не была «Щёткой наоборот» или «Антищёткой», снисходительно терпела Галю, как бунтующую сестру-подростка. «В четырнадцатом веке, – сказала Щётка, – в Европе для обвиняемых в богохульстве женщин отменили виселицы, чтобы мужики не заглядывали под юбки. Вот вам ответ».

– Села, – согласился Иванов, – а может, посадили, история на сей счёт безмолвствует. – И продолжил: – Соврал Губа, дом не сожгли, стоит там же, на Фабрициуса, раньше крепко строили, бурьян и кусты уже выше крыши. Считается местной достопримечательностью: в сетях известен, как Дом филина! Есть коллективные письма в мэрию от жителей с Фабрициуса с требованием снести, там не только филин, а и летучие мыши, совы, волка даже видели, а я не могу – частная собственность! Записан на племянницу Ериной, она с твоей матерью, – повер-

нулся к Агриппине, – в лесном техникуме училась. Живёт в Молдавии, при мне не приезжала, налоги и коммуналку исправно перечисляет, долгов нет. Хорошие деньги армяне давали, не согласилась. Участок-то недалеко от реки, плюс двадцать соток колхозного пая у неё вдоль берега. Там глубина, сомы ходят, можно яхт-клуб с рыбным рестораном замутить. Так... – зашеле-стел страницами. – Пьянство, сожителство с Ериной, которая на двадцать... опять двадцать!.. лет старше, пропускаем, по нынешним временам это мелочи. Теперь слушайте... Считаю необходимым проинформировать компетентные органы о случайно ставшем мне известном от... Тут, – перевернул страницу Иванов, – пометка карандашом от дознавателя: свидетель, на которого ссылается анонимный автор, погиб... дата, номер свидетельства о смерти... всё, как положено... в результате ДТП, управляя в нетрезвом состоянии мотоциклом на просёлочной дороге номер... Смерть наступила в результате несовместимой с жизнью черепно-мозговой травмы головы вследствие удара о телеграфный столб. Подождите, тут ещё... штампик: сдано в архив... число, месяц. Ясен пень, анонимный донос, ссылка на погибшего свидетеля, концов не найдёшь.

– Это уже рассказ «Сныть», – заметила Агриппина. – Только Губа его раньше написал.

– А сейчас внимание! – объявил, как конференсье в цирке, Иванов.

– Не томи, – попросил Одеялов. – Письмо в будущее, Ежов, ересь, сныть, ДТП, филин, летучие мыши... Где Дюма?

– Дюма, наверное, последние страницы и утащил, – ответил мэр. – Дело затребовали наверх, распорядились закрыть, потом вернули, но без последних страниц. Или забыли, или... Не знаю. Перед сдачей в архив следователь их восстановил по памяти, иначе, видимо, не регистрировали. Читаю, как написано: «Анонимный автор, со слов погибшего в ДТП свидетеля, утверждает, что Флорентий Губа закопал в ночное время на приусадебном участке гражданки Ериной Н.Н. металлический контейнер, куда вложил написанное им обращение к людям России. Данный контейнер из нержавеющей стали был им ранее получен от погибшего свидетеля якобы для хранения инструментов. Во время совместного распития спиртных напитков в доме Ериной после получения Флорентием Губой указанного контейнера, он якобы сообщил свидетелю, что содержание его обращения каким-то образом станет известным русскому народу через сто лет, то есть не ранее две тысячи пятьдесят седьмого года. За день до смерти в ДТП свидетель якобы рассказал неустановленному автору, что на следующее утро после распития спиртных напитков у Ериной к нему явился Флорентий Губа с двумя бутылками вина «Южная ночь». Губа заявил, что пошутил насчёт обращения к русскому народу, после чего стал убеждать свидетеля вступить в ряды КПСС, провозглашая тосты за советское сельское хозяйство, ленинский президиум ЦК КПСС и Первого секретаря ЦК КПСС тов. Хрущёва Н.С.»

Одеялов снова вытянул ногу под столом, но на этот раз вхолостую. «У королев не бывает ног»,

вспомнилась ему присказка из рыцарских времён.

– Я же говорил, что он сумасшедший! – стукнул кулаком по столу Иванов. – Заметьте, послание не советскому народу, а людям России, как будто нет никакого СССР! На сто лет размахнулся, как этот... старец, который ещё при Павле конец империи напроорочил. Но про старца хотя бы знали, не выпускали из кельи. Записку наверняка, как новый царь заступал, переписывали, чтобы в масть, а у Губы что? Через сто лет придут потомки на огород Ериной, откопают железный ящик и узнают, что он там... невидимыми чернилами нацарапал! Или это не он невидимыми, я уже запутался!

– Ленин, – выпрямилась на стуле Агриппина, давая понять Одеялову, что для него у неё ног нет, – когда сидел в тюрьме, писал молоком между строчек, кстати, именно в книге Дюма «Графиня де Монсоро». Надзиратели проверяли – чисто, никаких пометок. Соратники уносили, перелистывали страницы над свечкой, всё проявлялось. Губа описал это в рассказе для детей «Белые буквы».

– И здесь отметил, хитрюга, – покачал головой Иванов. – Ленин не ждал сто лет, так написал, что весь двадцатый век всё человечество читало. И сейчас ещё... – кивнул на портрет президента, – неизвестно, вдруг захочет перечитать? А Губа про каких потомков? У него и детей-то не было, жил, как кашалот в Марианской впадине, иногда только похулиганить всплывал. Куда со всем этим? Хоть музей закрывай. Извиняйте,

товарищи, думали, Губа – классик, а он... приду-рок! Вот откуда разговорчики, что органы его всю жизнь пасли. Другого бы сто раз посадили, а этому... молоко за вредность!

– На наш век музея хватит, – аккуратно сложила в папку разбросанные по столу страницы Агриппина. – Пусть потомки разбираются.

– Они уже разобрались, – махнул рукой Иванов, – досрочно СССР развинтили, не могли до две тысячи пятьдесят седьмого потерпеть. – Повернулся к Одеялову: – Пиши докторскую, или, – наполнил рюмки, – приключенческий роман. На посошок! – Жаль только, – доломал шоколадку, – что как-то без клада обошлось. Без сокровищ какой роман? Губа точно не граф Монте-Кристо, перезахоронение с мемориалом ему твой отец оплатил. Он и решение по музею помог в министерстве культуры пробить. А если не Монте-Кристо, то кто? Буратино! Всё сходится. СССР – страна дураков – то Ежов с расстрелами, то двадцатый съезд с реабилитациями. Поле чудес – огород Нинки Ериной, где Губа зарыл волшебное слово к русским людям. Срок установил, как китаец – сто лет, они на века вперёд планируют. Неважно, что он там написал, у нас это всегда статья! Лиса Алиса с Котом Базилио на всякий случай донесли, да засветло убрались, позавтракав холодным пирогом. Ну, а ГБ в пятьдесят седьмом не до Губы было: их самих тогда трясли, даже этого... как его... Судоплатова посадили. Вот и сказочки конец.

– Кто дослушал молодец, – неизвестно зачем ляпнул Одеялов. Язык у него иногда говорил сам, выставляя хозяина дураком, или, как сейчас, неудачливым шутником. Одеялов считал себя неглупым человеком, но язык по какой-то причине старался доказать ему обратное.

– Мы подумаем, как распорядиться уникальным материалом, – с недоумением взглянула на него Агриппина, – естественно, не в ущерб авторитету Флорентия Губы.

– Да никак, – сказал мэр. – Кого удивим? Только интернет раззадорим.

Ещё как, едва успел прикусить язык Одеялов. Не только дурак, подумал за Агриппину о себе, а ещё и раболепствующий трус, поддакивающий каждому начальственному слову. Он не сомневался, что музейный коллектив прошерстил ютубы, дзены, ватсапы и телеграмм-каналы и сейчас знает о нём больше, чем он сам о себе. «С марта 2022 года сын разбогатевшего в «святые девяностые», но скоропостижно скончавшегося при неясных обстоятельствах отца-миллиардера живёт в Израиле», – недавно прочитал про себя Одеялов.

Песнь четвёртая. Лицо.

Он обжился в Безуслове. Иванов поселил его в двухуровневой, с отдельным входом, квартире своего заместителя по строительству, занимавшей половину таунхауса в хорошем охраняемом месте недалеко от храма. С одной стороны река,

с другой лес. Вторая половина таунхауса использовалась как ведомственная гостиница. Сейчас там жил полковник из Москвы, ответственный за средства радиоэлектронной борьбы. Через Безуслов на юг тянулись эшелоны с военными грузами. «Он здесь и не бывает, мотается по области, – сказал, подёргав дверь, Иванов, – у них сейчас с дисциплиной строго, разнесут платформы с танками – пойдёт под трибунал». Одеялов спросил у Иванова, кому перечислять деньги за съём, но тот только махнул рукой: «Не парься, решим, ему сейчас не до этого». – «Что с ним?» – поинтересовался Одеялов, припоминая, что дверь вроде бы не была опечатана. «В отпуске по состоянию здоровья, – объяснил Иванов, – дело пока не завели». – «А ну как заведут, приедут с обыском?» – забеспокоился Одеялов. «Тебе-то что? Дадут пару раз по морде, положат на пол, потом разберутся», – нехорошо, но в духе времени пошутил мэр.

Едва переступив порог, Одеялов понял, что заместитель по строительству жил здесь без семьи и, похоже, покидал квартиру в спешке. На кожаном диване – полотенце и вывернутый наизнанку, словно он вылетел из него птицей, махровый халат. На стеклянном столе – пустая бутылка из-под виски, помутневший стакан, надорванный пакет с разбежавшимися чипсами. «Прислали бедолагу из Приморья, занимался жильём по военной линии, – включил и выключил свет в просторном с мраморным полом холле Иванов, – ничего здесь толком и не успел. Телефоны сразу поменял, просил профиль на сайт

мэрии не ставить, квартиру не на себя, а на мать оформил». – «Зачем же ты такого взял?» – «А зачем ты здесь? – угрюмо поинтересовался мэр. – Живи, как все! Один диссидент в советское время такую книгу написал и быстро помер в лагере, потому что не хотел, как все. Затем и взял. Меня, – открыл холодильник и тут же закрыл, поморщившись, – особо не спрашивали. Есть человек, подбери должность, будет работать. Я сейчас позвоню горничной, – недовольно посмотрел на холодильник, – пусть здесь уберётся, выкинет рыбу, а мы с тобой поедем обедать».

В кафе «У башни» мэр выбрал столик возле туалета, хотя можно было сесть у окна с видом на сквер с фонтанами. «Здесь проверено, – постукал по столешнице Иванов, – мин нет!» Одеялов, ощущая трансцендентную близость к человеку, в чьей квартире собирался жить, пытался выпытать у мэра подробности, но тот отделивался информацией общего плана: «Современный парень, брюки узкие, пиджачок до ремня, часы... да, часы, как положено. Финансы, инвестиции, дайвинг, наушник, ежиный мех». – «Что-что?» – не понял Одеялов. «Ну, такая щетина, то ли небритый, то ли бороду отращивает. Стандарт. Их, как монет, наштамповали, не отличишь». – «Неужели ни одной идеи за всё время?» – не поверил Одеялов. «Была идея, – подумав, признался мэр. – Что-то он про литературно-исторический парк говорил. Музей, дескать, хорошо, но надо вокруг территорию расчистить, вязы с каштанами посадить, поставить павильоны с аудиовизуалкой. В

общем, расширить экспозицию, слепить что-то вроде литературной ВДНХ с павильонами классицизма, романтизма, футуризма. Летний театр, чтобы поэты стихи читали... У нас же в области не одна Губа, – усмехнулся мэр, – усадьба Сумарокова на реконструкции, Мандельштам из Воронежа в Демьянск приезжал, жил у какого-то чудака на голубятне. Его потом арестовали за телескоп. Нашли дореволюционный, как у Циолковского, в голубином помёте. Пять лет дали за то, что хотел вражеские войска на дальних подступах засечь и послать им голубя с планом нашей обороны. Неужели в музее не рассказывали?»

И только когда, отобедав, выходили из кафе, мэр вернулся к интересующей Одеялова теме: «Я ему предлагал сдать квартиру официально через риэлтерскую контору, он сказал, что не хочет светиться в договорах, есть доверенный человек, ему желательно налом, цену, кстати, сразу снизил. Она... – со значением посмотрел на Одеялова Иванов, – думаю, что «она», сама тебя найдёт, так он сказал». – «Давать – не значит любить, – напомнил Одеялов. – Значит – всё-таки значит». – «Это, смотря с чьей стороны, – сказал Иванов. – Деньги любви, как Бог, в помощь».

По ночам в лесу ухал филин. Охранник из будки на въезде в посёлок пожаловался Одеялову, что филин повадился кормиться на помойке, наловчившись сдвигать с баков крышки. «Не столько сожрёт, сколько разбрасает, а пристрелить нельзя, потому что из Красной книги. Рыб-

ный, что ли? Если такой рыбный, так и ловил бы, сволочь, в реке! Живёт тут одна помешанная, лягушек с дороги на обочину переносит, чтобы не раздавили. Сразу жалобу напишет».

Ночью в небе над рекой проплывала луна. Если не было облаков, прозрачный серебристый свет заливал посёлок по самые крыши, деревья расчерчивали землю причудливыми тенями. В реке, как в зеркале, отражались звёзды, а сама река казалась твёрдой, как асфальтовое шоссе. Однажды, прогуливаясь перед сном, Одеялов заступил на территорию, которую филин считал своей. Что-то мягкое, невесомое мазнуло его, как шапкой, по голове. Он понял, что это предупреждение. Над автостоянкой, где в углу у забора стояли мусорные баки, просвистело лохматое ядро. Крышка на одном баке была сбита, вокруг валялись пакеты и бутылки. Филин, как циркулем, очертил запретный круг. Некоторое время было тихо, но вскоре из леса донеслось сердитое уханье. Филин предпочитал ужинать в одиночестве. Совсем как я, подумал Одеялов.

Он обратил внимание, что луна в шоу-руме над рекой меняет наряды, как женщина. Чем внимательнее он её рассматривал, тем сильнее она хотела ему понравиться, являясь то в белом, то в кремовом верже, то в голубом. В филинову ночь она предстала в красном, как если бы позаимствовала отрез заката у солнца. Прежде, глядя на гравюры китайских и японских художников, Одеялов не верил в идеально круглую с синими и зелёными прожилками клубничную луну.

В Безуслове поверил. Эти с креветочными усами, бритыми черепами с косицами художники наполняли луну кровью, оплетали венами рек, покрывали шерстью лесов, считали её улетевшим в космос женским лоном. Земной фаллос – американский «Аполлон» – однажды дотянулся до Луны, но вышло: «Давать – не значит любить». С тех пор никто туда не летал. А может восточные художники вовсе не были изысканными экологами, а работали по Луне, как мастера тату по молодой коже. На ней, что ни набей, будет красиво. Но недолго. Кожа имеет обыкновение дрябнуть и стареть, а тату – расплываться и выцветать. Одеялов вспомнил пожилых европейских дам – пионерок эпохи тату – на средиземноморских пляжах. Тату на их телах выглядели, как следы пыток.

Для Одеялова лунная жизнь оказалась негативом дневной. В дневной – государственный филин наблюдал за ним в телескоп, подозревая в снаряжении голубя с известием наступающему врагу. Бледная дневная луна равнодушно свидетельствовала, что нет правды на земле. Ночная жизнь была человечнее. Филин предупредил его, чтобы не совался в мусорный бак. Луна в нескромном красном купальнике, когда он помахал ей рукой, ответно подмигнула и игриво шевельнула... губой. А ещё его посетила странная, но допустимая в лунную ночь мысль, что Губа, орудуя ночью лопатой, вполне мог зачитать таинственное послание прилетевшему посмотреть, что происходит в огороде, филину. У филина есть уши, вспомнил Одеялов.

В эту ночь ему приснилось лицо Губы. Одеялов спал в холле, не занавешивая панорамного окна, на длинном кожаном диване. Ему казалось, что из спальни ещё не выветрились помадные страсти, хотя это вовсе не означало, что они не выплёскивались из спальни на диван и, возможно, даже на тканые ковры на мраморном полу. С дивана Одеялову было удобно смотреть на луну.

Засыпая, он растворился в её свете, провалился в сон, как в чемодан с двойным дном. На первом дне он оказался в незнакомой квартире с какими-то девушками. На втором – как будто проснулся и увидел в окне лицо Губы. Точнее, луну с чертами лица Губы.

Не сказать, что он хорошо помнил его лицо. Он и видел-то Губу всего несколько раз. Во сне лунный Губа смотрел на него, как врач в военкомате на призывника, без малейших иллюзий, что видит радостного защитника Родины. Точно так же, Одеялов это запомнил, он смотрел на него десятилетнего во время путешествия на отцовской «Волге» в деревню на берегу озера в Псковской области, где Губа прикупил полуброшенную избу с пунктирно обозначенным редкими фрагментами забора участком. «Глушь, – сказал он, с трудом открывая влипшую в косяк дверь, – волки на крыльцо прыгают». Из разъехавшихся на крыльце досок торчали ржавые гвозди. Одеялов хотел спросить, зачем волки это делают, но постеснялся. Губа сам был похож на волка – костистый, с длинными седыми волосами, с загорелым, изрубленным морщинами, каким-то не

русским лицом. Русские лица катятся колобками. Лицо Губы не катилось, а тормозило, цеплялось за взгляды, как крепкая суковатая палка. С обладателями таких лиц колобки почтительно здороваются, не ожидая, что те ответно кивнут. Раньше кланялись, снимая шапки, а иногда и... на колени. Глубинный ген в ДНК, успел подумать во сне Одеялов, делит людей на тех, кто может, а кто – нет. Железный август, вспомнились строчки Заболоцкого, в длинных сапогах стоит вдаль с большой тарелкой дичи. Всё совпадало! Губа с волчьей головой стоял в ночном саду в длинных сапогах, а они с отцом трепыхались дичью на тарелке.

Потом тарелка на руке Губы, как сказочный кит, на спине которого плыла по морю-окияну богоспасаемая – с лесами-полями, сорока-сороками, тучными стадами и девичьими хороводами Россия, обросла конкретикой. Нашлось место и дому-музею на улице Ленина, и самому Ленину, вздёрнувшему каменную руку на центральной площади, и вольноопределяющемуся от литературоведения Одеялову, и мэру Безуслова Иванову, и порхающему косматой бабочкой филину, и легкомысленно белеющими длинными ногами (они почему-то играли в бадминтон) Агриппине со Щёткой. Тарелка свободно перемещалась во времени и пространстве.

Отец в то время был начальником цеха на секретном заводе, хорошо зарабатывал, появлялся дома поздно вечером, уезжал на работу рано утром. Незадолго до путешествия в деревню Губы

он в составе группы производственников и учёных стал лауреатом государственной премии за важное для военной промышленности изобретение. К ней прилагался подписанный самим министром автомобильной промышленности ордер на приобретение даже не экспортного, а номерного варианта «Волги ГАЗ-24-универсал+» по лимиту академии наук. Одеялов помнил эту голубовато-серую (цвет «Белая ночь») машину, много лет стоявшую в гараже на заводе. Отца вскоре повысили по службе, он стал главным инженером. По должности ему теперь полагалась персональная круглосуточная машина с двумя сменными водителями.

Получив права, юный Одеялов немного покатался на премиальной «Волге». Перед глазами сразу возникли девичьи коленки на обитом кожей сидении. Оно было таким просторным и глубоким, что юбок и платьев не хватало, чтобы натянуть на колени. Советские девушки отличались осмотрительностью, но «Волга» цвета «белая ночь» была восклицательным знаком, показывающим место её обладателя в обществе.

В середине девяностых в Россию хлынули иномарки из Европы и Японии. Практически девственная «Волга» вернулась в гараж. Отцу – уже не главному инженеру оборонного завода, а уважаемому акционеру и члену правления вновь образованного холдинга почтительно напомнили про неё, когда завод был приватизирован и оптимизирован – технологические линии демонтированы и проданы в Индию, а освободившиеся цеха

переоборудованы в логистический центр, говоря по-простому, в складские помещения. На запретную прежде территорию теперь день и ночь заезжали длинные фуры. Грузчики заносили в освобождённые от станков цеха коробки с сигаретами и алкоголем. Потом, часто под наблюдением бородатых особ духовного звания, коробки и ящики оперативно перегружались в меньший по размеру транспорт. Один благочинный в рыжей щетинке и красиво вышитой бисером скуфейке самолично приезжал на длинном чёрном «мерседесе» с мигалкой. Ему отгружали товар малыми партиями с особой полки, где находились не картонные, а тонкого дерева, изящно опломбированные ящики, напоминающие большие шкатулки. Этот табачок и коньячок шёл «врозь», кому надо.

Отец велел переоборудовать застоявшуюся «Волгу» в «Скорую помощь» (универсалы и «рафики» в то время так использовались повсеместно) и передать в районную больницу. Об этом благотворительном деянии даже появилась заметка в «Вечерней Москве». Одеялов, помнится, поинтересовался, почему не в патриархию? Не берут, засмеялся отец, точно на такой же ездил уполномоченный из совета по делам религий, который их гонял. А теперь, спросил Одеялов. А теперь летает на личном самолёте, помог им вырвать квоту на беспошлинный импорт сигарет и алкоголя.

Но это случится позже, когда СССР исчезнет.

В ту поездку СССР ещё был жив. Отец и Губа вели чудо-«Волгу» поочерёдно. «Мне такая не светит, – сказал Губа, – мой удел «Нива». – «Почему?» – спросил отец. Чем глубже въезжали в Псковскую область, тем хуже становилась дорога, а пейзаж безлюднее. «Волгу не остановить, она течёт, – похлопал свободной рукой по отделанной твёрдым под карельскую берёзу пластиком приборной панели Губа, – а ниву жнут серпом по яйцам».

Одеялов окончательно понял, что не могло быть такого разговора много лет назад в несущейся по пустому шоссе «Волге». Интересно, долго она продержалась, как «Скорая помощь», многим «скоро» помогла?

Подсознание и детские комплексы Одеялова, если верить доктору Фрейду, определяли драматургию сна внутри сна. Достоевский называл подобное состояние «грёзами наяву». Одеялов уже не по доктору Фрейду и Достоевскому, а по мистическому философу Карлосу Кастанеде знал, что спит, но при этом крутил руль сновидения, совсем как Губа ребристый руль отцовской «Волги».

Он ловко объезжал выбоины и провалы. Асфальт по мере приближения к деревне постепенно сползал с дороги. Мастерским зигзагом Губа уклонился и от зачем-то выпершегося на дорогу аиста, тот даже крыльями не всплеснул, так и остался стоять столбиком посреди дороги. Должно быть, привык. Машины тут ездят редко,

а может, никогда не видел такой красивой «Волги». Одеялову аист напомнил единицу, полученную недавно за контрольную по математике. Свесив красный нос, она стояла под неправильно решёнными примерами. Чтобы у Одеялова не возникло соблазна переделать единицу в четвёрку, учительница добавила в скобках: «Единица!!!»

«Колесо власти или везёт страну вперёд, или колесует её», – напишет позже Губа в открытом письме Горбачёву, на которое тот, естественно, не ответит. Эту фразу потом часто цитировали. Ельцину Губа, кажется, не писал, хотя в каком-то нетрезвом интервью ляпнул: «Писать во власть всё равно, что писать в штаны, когда руки связаны за спиной».

Во сне Одеялов не мог точно вспомнить, говорил это Губа или не говорил.

Былинный кит махнул хвостом, и он снова перенёсся в деревенскую избу, на крыльцо которой прыгали волки. Из затянутых паутиной окон был виден кусок озера в высокой острой траве и камышах. В углу под потолком чернела икона с давно не вкушавшей масла лампадкой. Немалое пространство занимала широкая, частично облупившаяся русская печь. Лампочка под потолком горела неуверенно, потрескивая дрожащей спиралью. Отец заносил в избу удочки, спиннинги, мешки с провизией, надувной лодкой, резиновые до ушей (в каких, видимо, истреблял в ночном саду дичь железный Август) сапоги, другие рыболовные принадлежности. Он уже опреде-

лил опытным взглядом, что здесь будет брать щука на матовую блесну-сверло, а карася в камышах придётся уважить тройным бутербродом из теста, червяка, личинки репейника и опарыша на десерт.

«Подробно живёшь», – заметил Губа, выслушав про карася и оглядев гору снаряжения. Особенно его впечатлил инновационный по тем временам – размером с вентилятор – японский моторчик для надувной лодки. «Это держит в тонусе», – ответил отец. «В кулаке», – засунул в печку поленья, щепки, мятые клочья газеты Губа. «Чтобы сразу бить», – отец небрежно сдвинул выставленные Губой на стол бутылки, разложил на нём, как пасьянс, блесны. «А думать?» – чиркнул спичкой Губа. Печка в ответ дыхла дымом, но всё же нехотя разгорелась. «Линь, – жадно посмотрел в окно отец, – у линя сейчас нерест. Успею, пока светло, бросить «морды» в камыши, утром проверим».

Одеялов, конечно, отдавал себе отчёт, что эпистолярная тема навеяна совещанием у Иванова. Он звал в свой сон Агриппину, но она не спешила в избу, хотя там уже было тепло, а когда Губа и вернувшийся в длинных сапогах после установки «морд» в камышах отец накрыли стол, стало почти уютно. Они накрыли его под тёмную «Охотничью» и белую «Пшеничную», но и для Одеялова отыскалась бутылка с лимонадом «Буратино». Они почему-то насмешливо называли его на французский манер с ударением на последний

слог – «Буратино». Одеялов проголодался, а потому ел солёное, маринованное и крупно нарезанное мясо, как будто тоже закусывал водку.

Эпизоды соединялись, как звенья в цепи, а цепь змеей ползла своей дорогой. «Нет, не буди змею, куда идти, она тогда, пожалуй, не узнает, – немедленно ожили во сне строчки Шелли. – Дозволь ей сонной, так во сне ползти, пока трава ночной росой блистает». Одеялов пытался перенастроить голодный детский сон на ночь пятидесяти седьмого года. Он уже крался по тёмной улице Ленина в треске цикад, сопровождаемый служебным лаем проснувшихся псов. В садах за заборами шевелились кусты, серебрилась в ночной росе трава, на яблонях матовыми лампочками висели яблоки. А вот и обтянутая клетчатой рубашкой литая спина Губы в огороде Ериной Н.Н., летающая в воздухе лопата, наостривший на сосне уши филин. «Россия... ааа... быы...» – прошестелело на лунном ветру. Губа бросил лопату, взялся притаптывать сапогами взрытую землю в проходе между грядками и кустами смородины. Со стороны казалось, что он спятил и пустился в пляс. Филин мелкими когтистыми шажками подбирался по ветке к приоткрытой двери сарая, где спали куры и утки. Откуда эти звуки, недовольно подумал Одеялов. Неужели из зарытого в огороде послания русскому народу молодого писателя и кандидата в члены КПСС Флорентия Губы? Или из окна избы Ериной Н.Н.? Нет, тогда магнитофоны ещё не хлынули в народ, слушали на патефонах Утёсова и Лещенко. Сколько тогда

было Губе – двадцать шесть? Лермонтов в шестнадцать написал: «Настанет год России, чёрный год, когда царей корона упадёт. Забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь». Но его «Предсказание» гуляло в тогдашнем списочном самиздате. А как русский народ через сто лет узнает о послании Губы?

«Россия... ааа... быы...» – истина на все времена, злился во сне Одеялов, её и так все знают. Достоевский называл её «бобок», Чехов – «трюм-пум-пум». Да и Губа в пьесе «Вечер с грибами» не обошёл её в сцене, когда на дне рождения племянницы герой войны, полковник в отставке Федулов, наслушавшись разговоров молодых гостей, гневно спросил у Виктора Клепачевского – жениха племянницы: «Зачем ты живёшь?», на что тот небрежно ответил: «Пригласил бы ты, дядя Федул, Ларису Константиновну танцевать, что ли?»

До Одеялова вдруг дошло, что круг посвящённых в дело Губы невелик: он, Иванов, Агриппина и Щётка. Не было никаких сомнений, что Агриппина ей расскажет. Ещё – теоретически – сотрудники госбезопасности, если кто дожил, но это вряд ли. Иных уж нет, а те далече. Архивные тётки из мэрии не в счёт, они, как справедливо заметил Иванов, ленивы и не любопытны. Цитаты из классической литературы порхали во сне Одеялова, как летучие мыши. Он где-то читал, что филин хватает их, если попадутся на клюв, но не очень в это верил, больно быстры и увертливы сканирующие воздух ультразвуком летучие мыши. Из

всех посвящённых наибольшие шансы дотянуть до назначенного Губой срока – две тысячи пятьдесят седьмого года – были у молодой неистрепанной Щётки и гибкой, как удочка, Агриппины. Мысль о неотвратимости смерти опечалила его, но и наполнила неожиданной решимостью: зачем ждать сто лет, когда всё рядом и под рукой? Но додумать до конца эту мысль он не успел. Слово «удочка» обладало волшебной силой.

Удочка, точнее, спиннинг, зацепил Одеядова блесной, выволок из ночного огорода Ериной Н.Н., где плясал, трамбуя землю, Губа, на солнечный утренний берег озера в псковскую деревню. Отец выделил ему самый лёгкий с простейшей катушкой спиннинг, несколько раз показал, как надо забрасывать, придерживая катушку, чтобы леска не запутывалась, а блесна летела куда надо. То, что у отца получалось играючи, у Одеядова – никак и даже гораздо хуже. «Необучаем, – констатировал отец, – лови на удочку, только сначала надень на крючок червяка». Он ушёл на другой край понтона, забросил блесну чуть ли не на середину озера. Одеядов едва удержался, чтобы с разбега не столкнуть его в воду. Ему хотелось сломать спиннинг, растоптать катушку. Он уже видел, как она сплющится, стиснет обмотавшую её леску, после чего им один путь – на дно.

«Борода, – услышал Одеядов сквозь хлюпающий нос и зреющие в глазах злые слёзы спокойный голос Губы, – это называется – борода». Губа, положив свою удочку на понтон, осторож-

но поднял выхлестнувшееся из катушки кружево лески. Оно и впрямь напоминало длинную козлиную бороду. «Её надо расплести, только сначала снимем блесну». «Есть контакт! – радостно крикнул отец. Его спиннинг выгнулся, как лук, леска напряглась. – Добрый контакт, килограмма на полтора», – отец перебежал на другой конец понтона, где было меньше кувшинок и лилий, ловко перепрыгнув через «бороду». «Вперёд!» – вручил Одеядову конец лески Губа. «Это невозможно!» – топнул ногой Одеядов, ненавидевший в этот момент отца, Губу, понтон, озеро и весь мир. «Срежьте леску, – не оборачиваясь, посоветовал отец. Щука уже мелькала в воде чёрной спиной и жёлтым в крапинках брюхом, он готовился принять её в сачок. – Или возьмите в мешке другую катушку. Ну, здравствуй, красавица!» – ласково приветствовал замершую в сачке щуку.

«Я покажу, как это делается, – опустил на корточки рядом с Одеядовым Губа. «Не хочу!» – топнул ногой Одеядов.

«Придётся».

Одеядов заметил, что Губа смотрит на него с грустью, но эта грусть вызвана не тем, что он оплошал со спиннингом. Может, друг отца не выспался? Одеядов спал на раскладушке у окна. Отец, как царь, – на широкой, лязгающей пружинами, явно оставшейся от прежних хозяев кровати с металлическими шариками на спинке. Когда они пили «за погоду», Одеядов попытался свинтить шарики, но те как приросли. Губа спал на узком топчане у перетопленной печи.

До этого момента он не знал, о чём говорить с Губой. Точнее, знал, что не о чем. А тут вдруг показалось, что есть. «Сколько тебе?» – спросил Губа. «Десять». – «Ну да, десять, – задумчиво повторил Губа, – значит, есть девочка, которая нравится?» Одеялов растерялся, даже не успел подтянуть соплю. Пришлось рукавом. Была девочка, ещё как была! «И не просто нравится, – понимающе улыбнулся Губа. – Ты её любишь». Одеялову захотелось уйти с понтона, но он остался. Он понял, что странный и поначалу неприятный ему отцовский друг не смеётся над ним, а хочет что-то сказать, объяснить, и не так, как отец учил бросать спиннинг. «Представь себе, – тщательно расправил на понтоне «бороду» Губа, – что это она. Ну, не в прямом смысле, а что это как-то с ней связано. Веди леску, как будто держишь её за руку. Она доверилась тебе. Не важно, как она относится к тебе. Важно, как ты. Думай о ней и веди, веди леску. А потом я покажу, как забрасывать». – «Света, – тихо сказал Одеялов, – не борода!». – «Согласен, – сказал Губа, – но надо же начинать». Одеялов хотел спросить, что начинать, но не спросил.

Он загнал «бороду» обратно в катушку на пятой отцовской щуке. Протискивая свободный конец лески сквозь схватившиеся, но ещё не затянувшиеся узелки, распутывая петли, Одеялов всё время видел перед собой Свету. Он – Губа угадал! – любил её, но не знал, что делать и надо ли вообще что-то делать. Ему хватало того, что она есть, остальное тонуло в каком-то слад-

ком тумане. Однажды на перемене он увидел её у окна, подошёл, тронул за плечо. Она обернулась. Секунду они смотрели друг другу в глаза, не произнесли ни единого слова, но Одеялов как будто приобщился к волновавшей его, но существующей в ином измерении тайне. Света была её частицей, его входным билетом в мир, который манил, притягивал к себе, как магнит скрепку. Он не знал, что делать с ходящей рядом, оглаживающей платице, встряхивающей косичками, показывающей язык, хнычущей, хихикающей прекрасной тайной. Он жил ожиданием её разгадки, и это ожидание было неизмеримо интереснее и чище того, что ему было известно о технической стороне тайны. Света часто снилась ему. Много раз он подходил к окну, трогал её за плечо, и они молча смотрели друг на друга. Вращая вбиравшую леску катушку – она крутилась легко, а леска искрилась на солнце, не зря отец и Губа пили вчера «за погоду», он вдруг понял, что молчание – это и есть их слова. Разгадки тайны нет, но есть надежда. При этом что-то смутное, непонятное, тревожное сквозило в этой тайне, как если бы Одеялов вдруг увидел в озере русалку, или в избе – домового Лео, которому, уезжая, Губа оставил на книжной полке рюмку водки и конфету.

«В любви есть всё, но никогда до конца», – написал Губа в так называемой «Таблице деления» – школьной тетради в клетку, случайно обнаруженной в ящике с ёлочными игрушками на чердаке безусловского дома, когда его пере-

страивали в музей. Откуда игрушки? Зимний сентиментализм с ёлками, новогодними подарками, рождественскими поздравлениями был чужд Губе. В его «архиве» не было ни одного поздравления кого-либо с каким-нибудь праздником или с днём рождения.

«Почему Лео?» – спросил отец. «Так он назвался», – пожал плечами Губа. «Телепатически, как инопланетянин?» – усмехнулся отец. «Он здесь, – заглянул под стол Губа, – и он не любит, когда в него не верят». После чего они выпили за здоровье Лео «Охотничьей». Одеялов тоже сунулся под стол, но никакого Лео там не увидел. Всё это пронеслось в его голове, как поезд, и исчезло, как не было. А может, было, но как Лео под столом – невидимо, или как любовь – не до конца. Он любил Свету. Он распутал «бороду». Осталось только привязать блесну.

Губа показал, как это делается, объяснил, что в солнечную погоду больше подходит тёмная блесна, яркой щука не поверит. «Бросай, – протянул Одеялову спиннинг. – Подожди, – придержал, когда тот, зажмурившись, размахнулся. Закрытыми глазами Одеялов уже видел новую «бороду» на понтоне, а в озере – чешуйчатый хвост и круглую, как мячик, русалочью грудь среди белых лилий и жёлтых кувшинок. «Не добросишь! – дразнила русалка, – запутаешься в «бороде»!» – Сосредоточься. Выбери куда, – сказал Губа. – Просто внимательно посмотри, озеро само подскажет. Спроси у него. Бросай так, будто чувствуешь щуку, знаешь, что она схватит,

и ты обязательно её вытащишь. Раз, два, три! Пошёл!»

Сверкнув на солнце, блесна шлёпнулась в намеченное, где только что была русалка, место. Перехватив спиннинг, он начал крутить катушку. «Подсекай!» – скомандовал Губа, когда кончик спиннинга дёрнулся. Одеялов махнул им в сторону, ощутив сопротивление блесны. Больше он не нуждался в подсказках, крутил катушку, не давая леске провиснуть. «Зачем туда бросил? – отвлёкся от снаряжения надувной лодки (предстояла полуденная ловля на лещовых «ямах») отец. – Видишь, поверху нет волны, стоит вода. Водоросли тянешь!» «Дай сачок! – Одеялов сам не понял, почему обратился к Губе на «ты», не до того было. – Есть!» – подхватил сачком рыбу. «Давай быстрее, а то уйдёт в ячею!» – весело подбодрил отец. Посмотрев на сачок, Одеялов убедился, что пойманный экземпляр и впрямь может сквозь него провалиться. Сачок, или как его называл отец «подсак», был рассчитан на крупную рыбу, возможно, даже на русалку с грудями, как мячики. «Поздравляю, – обрадовался, как будто это он поймал, Губа. – Ёрш, да ещё на спиннинг, это рыба!» «То, что надо для уха», – добавил отец.

Интересно, где теперь Лео, подумал во сне Одеялов, вдруг он перебрался в дом-музей Губы в Безуслове, и это для него Губа устраивал тайную ёлку? В одном из рассказов Губы была фраза, над которой в своё время размышляли литературоведы: «Дантон сказал, что отечество нельзя унести

на подошвах своих сапог, домового можно!» Одеялов, помнится, тоже поучаствовал в дискуссии, написал, что отечество – это, естественно, Россия. Её никому и никуда не унести, в этом её великая сила. Всё вокруг куда-то плывёт, только Россия стоит на якоре, но, может, села на мель, раздражая мир своей бесконечной неподвижностью. Домовой на её плавниках – власть, во главе которой каждый раз оказывается самодержавный царь, ну, или его аналог, которого народ готов терпеть и славить вопреки всему и несмотря ни на что. Хотя, нет, если царь попытается сделать что-то правильное и полезное, Россия стряхнёт его с плавников. С неподвижности её никому не сдвинуть. Развалить – да, сдвинуть – нет.

«Неподвижность в России всегда до поры, – возразил Одеялову отец, прочитав статью. – Царь, если сидит долго, наливается ядом, как борщевик, потом отравляет всё вокруг, и яд у него очень даже подвижный».

Одеялову надоел сон про рыбалку. Хотелось вернуться в огород Ериной Н.Н., определить место, где зарыл послание Губа. Да, сейчас там репы, трава выше крыши, но можно хотя бы приблизительно, относительно окна или сосны, на которой сидел филин. А дальше – дело техники, точнее, металлоискателя. Губа вдруг увиделся ему не с волчьей, а с колючей головой ерша. Подземный ёрш, уставился в выпученные глаза Одеялов, покажи место!

Однако вместо желанного огорода, он вновь вернулся в ранний школьный возраст, очутился

в сельском магазине, возле которого они, свернув с шоссе, остановились на обратном пути из деревни. Хотели купить хлеба, но магазин оказался промтоварным. На длинной никелированной перекладине, расправив плечи, тесно висели пальто с цигейковыми воротниками, телогрейки, квадратные поролоновые куртки болотного цвета. Продавщица объяснила, что хлеб можно взять в чайной через два километра: «Она чуть в стороне, увидите, там всегда пьянь околачивается». «Смотри, – подозвав Губу, отец вытащил из строя народной одежды длинное кожаное пальто на меху. – «MadeinItaly»! Как моё из цековского распределителя, – пощупал рукав, – даже мягче. Генеральское пальтецо. Я бы взял, но зачем мне два одинаковых?» – «Вы что, берите, – сказала продавщица, – это по талонам. Совхоз через Внешторг улиток в Европу поставляет, они нам раз в квартал дают дефицит». – «У нас нет талонов». – «А и не надо. Наши все отказались, потому и висит, вы посмотрите цену». – «Девятьсот рублей, – повертел этикетку отец. – Дороговато, конечно, но вещь! Бери, – повернулся к Губе, твой размер». – «Не при деньгах, – угрюмо ответил Губа. – Две книги рассыпали, театр через суд требует вернуть аванс за пьесу, из делегации в Болгарию вычеркнули. Куда мне в таком пальто?» – «Как куда? К славе!» – отец достал бумажник, отсчитал девять новеньких коричневых сторублёвок. Ленин был на них, как живой. Одеялову даже показалось, что он приветливо ему подмигнул. «Быстро вернуть не обещаю. Мерить

не буду». Одеялов понял, что Губе не нравится, что он крутится рядом и всё слышит. «Ничего, Лео отдаст», – сказал отец. «Лео? – переспросил Губа. – Он может, но у него свой расчёт. Ты сам предложил».

Губа носил это пальто до самой смерти, был в нём на самых известных фотографиях – старый, с седой волчьей головой, но в изысканном, дорогом, поверх любой моды кожаном на меху пальто, из-под которого артистично и вызывающе смотрели валенки.

Какой Лео?

Одеялов открыл глаза. Он лежал в холле на кожаном диване. В панорамное окно светило солнце. Луна тоже присутствовала в небе, но никакого сходства с лицом Губы в ней уже не наблюдалось. Бледной и немного испуганной, как обруганная матушкой-игуменьей служивая монахиня, выглядела утренняя луна. Некоторое время Одеялов лежал на диване, размышляя над тем, что приснилось. Почему-то вспомнился отец, незадолго до смерти сказавший: «Теперь мне спать интереснее, чем жить». – «Почему?» – «В жизни меня ничего хорошего не ждёт, – пояснил отец, – всё позади, кроме смерти. Во сне я бессмертен и свободен, как бог. Я всё могу и ничего не боюсь». – «А как же кошмары, когда просыпаешься в поту?» – «Ночные кошмары – это всего лишь уведомление о неизбежности смерти, – ответил отец, – молодые нервничают, а люди в возрасте просто не достают их из почтовых ящиков».

А ведь дом гражданки Ериной Н.Н. до сих пор не продан, вдруг подумал Одеялов, калитка свободна, заходи, кто хочешь. Лео! Вот кто блюдет завет Губы! Сколько живут домовые? Без вариантов дольше, чем люди. Была в «Таблице деления» Губы и такая запись: «Люди живут, как комары – миг, но лишь бы насосаться крови». Бред. Но кто-то же должен выкопать послание? Кому-то же доверил Губа эту миссию. Неужели... мне? – свесил ноги с дивана Одеялов. Нет, так всё рассчитать Губа не мог!

Одеялов вёл в Безуслове здоровый образ жизни, ходил по утрам, как вельможа, в выстиранном и проглаженном горничной махровом халате заместителя мэра плавать на реку. Он хотел обзавестись своим, но подходящего в Безуслове не обнаружил, а тот был чудо как хорош – густой, словно сплетённый из мягких водорослей с крепко вшитой этикеткой австралийской фирмы. В стране Барьерного рифа и серфинга знали толк в халатах. Одеялов читал, что носить чужую одежду – приобщаться к судьбе прежнего владельца. Ему не хотелось в бега, но поразмыслив, он пришёл к выводу, что уже пребывает в них, правда, с отсроченной поимкой. Кто хотел – знал, где его найти. Или не найти, потому что у обобщённого «кто хотел» тоже всё (по Гераклиту) «текло и менялось». В одну и ту же реку человеку, или – бери выше! – целой стране нельзя войти дважды, но зато можно войти и не выйти. Одеялова не страшила судьба заместителя Иванова по строительству. От сумы-тюрьмы-халата не зарекай-

ся! Но ведь были в судьбе беглеца, если верить помадным словам на зеркале, и радости.

Путь к реке пролегал через секретную прореху в ограде за мусорными контейнерами. Завязываясь в халат, Одеялов вспомнил, что филин запретил ему там ходить. Рыбный филин из Красной книги, так сказал охранник. В детстве Одеялов застал советский «рыбный день», кажется, четверг, когда в школьной столовой учеников кормили неопределённого происхождения рыбой с ноздрястым пюре. Нет, не случайно ему приснилась рыбалка. Местная FM радиостанция «Боковая линия» часто рекламировала рыбный ресторан «Чешуя» на другом берегу реки. Надо пригласить Агриппину, решил Однялов, а если откажется – Щётку. По утрам ему не давали покоя слова, написанные помадой на зеркале.

(Окончание следует)

Елена Заславская – поэт, член Союза писателей России, лауреат литературно-исторической премии «Моя Россия» в номинации «Современная поэзия» (2024), финалист Национальной литературной премии «Слово» (2024). Автор двенадцати поэтических сборников и поэмы «Новороссия гроз. Новороссия грёз» (2020). На стихи Елены Заславской написаны песни для московской рок-группы «Зверобой». Стихи Елены Заславской переведены на многие иностранные языки.



**Елена
Заславская**

Поэзия



РУКОПОЖАТИЕ

Шрам на руке твоей.
Как же смотреть мне больно!
«Взгляд отводить не смей!»,
Но я отвожу невольно.
Глаз твоих мёд и медь.
Нет в них ни страха, ни муки.
В них отражалась смерть,
Твою пожимая руку.

Полегли под Спорным...
Живи – не забывай!
Выжил только взводный
Коля-Николай.
В больничном коридоре
Говорили с ним:
Полегли под Спорным.
Выжил я один.
Взяли мы опорник
Дорогой ценой.
Николай Угодник,
Спасибо, что живой.
Гроб, покрытый знаменем,
И прощальный залп...
Не забыть глаза мне.
Матери глаза.

Сквозь тьмы мазут:
«Нас всех убьют!»
В небесный град
Идёт солдат.
Идёт на свет –
Ценой побед.
Идёт на смерть.
И стонет степь.
– Давай-ка, Ангел, подсвети!
– А где твой?
– Ещё в пути!

Так получилось, что война!
И нам учиться умирать.
Нам заново учиться умирать.
И побеждать, конечно, тоже,
Но сначала,
Сначала всё же
Нам хорошо бы научиться умирать.

И прорасти сквозь жёсткий наст,
Сквозь мокрый снег,
Сквозь изморозь и ледяную стужу,
Сквозь «все забудут нас»,
Сквозь боль и ужас,
Сквозь смерть.

Расти, расти, расти, расти на свет.

Вот ты – побег, росток, но если нужно,
Ты – хлеб, ты – чёрный хлеб войны.
Ты – чёрный хлеб
скорбей и бед
Своей страны.
Один из всех.
Один за всех.
Без имени. Без рода.
И в этом настоящая свобода,
Одна из тех побед,
Что создают величие народа.

Когда деревья умирают на войне,
Разбитые снарядами от пушек,
Когда сгорают в адовом огне,
Куда деваются их призрачные души?

Их души попадают в райский сад,
Где соловьи поют и днём, и ночью,
Они летят, они туда летят
И прорастают в солнечную почву.

Никто ту землю потом не польёт,
Никто ту землю не польёт слезами,
За то, что в ней лежит который год
Однополчанин с синими глазами!

И соловей в растрёпанной листве,
Хоть будет петь вновь, но без той печали,
Что всем понятна русским на земле,
Которые здесь жили и мечтали.

В городе, полном печали,
Ветер с моря запутался
В кронах акаций,
Я вышла на берег песчаный,
Ракушку как рацию –
К уху. В ней зов
Из Азовского моря.
Так можно связаться
Со всеми,
Кто с той стороны горизонта.

– Ты слышишь меня?
Ну скажи же, ты слышишь? Ты слышишь?
Мой голос есть память.
Мой голос есть нить
Меж грядущим и бывшим.
Мой голос – волна...
Бесконечное эхо прибоя.
Ты слышишь меня,
Я тогда не вернулся из боя.
Но здесь я живой,
И ты слышишь бессмертную душу ...

Упала в прибой
Из дрожащей ладони ракушка.

ОБЛАКА МАРИУПОЛЯ

И всё-таки я чувствую вину.
Хотя, казалось бы, ну в чём я виновата?
Я тихо руки окуну в волну,
Омывшую погибшего солдата,
В тот день весны,
Когда был шторм и шторм...
Врата Инферно – сердце Азовстали...
Когда виском упавшую звезду
Поймал он, и его не стало.

В тот день весны,
Когда был шторм и шторм...
Горел разгорячённый Мариуполь...
Остались только шрамы будто швы,
И шум волны,
И птиц следы, как руны,
Барашки волн, как белое руно,
К нему стремятся чайки-аргонавты.
Нам прошлое исправить не дано.
Нам остаётся только боль и память,
И этот свет, и эти облака,
Как каравеллы неземных флотилий,
Они плывут, плывут издалека
В мой русский город с именем Марии.

Они везут надежду: будет мир.
Он дорогой ценой нам достаётся.
Нас эта вера делает людьми.
Она растворена в моей крови.
Она волной о берег сердца бьётся.

И мне бы хотелось,
Чтоб ты, словно Феникс,
Из пепла пожара,
Из пекла раздора
Восстал,
Возродился,
Воспрял,
Мой войною измученный город!

Чтоб ты свои крылья расправил!
Чтоб дети твои улыбались!
И вечная память,
И вечная память солдатам,
Тем, что навечно
В дозоре небесном остались.

Мне бы хотелось...
2024

СКАЗАНИЕ О КНЯГИНЕ ОЛЬГЕ

Прекраса

Капли с весла в воду падут
медленно – так он видел то
потом в мыслях своих и еще
видел он спину молодца, что
через реку перевозил, но толь-
ко не молодец то был вовсе –
как повернулся он, так и понял
– дева.

Князь Игорь на охоте соха
гнал, оторвался от своих, ранил
зверя, а тот в реку – и на дру-
гой берег поплыл, но от ран еле
преодолея быстрину, на берегу
выполз и пал. А конь под кня-
зем норовист был – не пошел в
стремину.

Нетерпелив князь и горяч –
бросил коня в сердцах.



**Александр
ПОКРОВСКИЙ**

Проза



На реке лодка случилась с перевозчиком, вот
он в нее и влетел и на тот берег приказал его
доставить немедленно, а по дороге уже приметил,
что и не муж перевозчик тот, но дева.

На берегу он ее за руку ухватил и к себе рыв-
ком поворотил, да и тут же почуял на шее холод
от острья – нож у горла встал.

– Дева? – прошептал он.

– Тронешь – горло взрежу!

– Князю горло взрежешь?

– А хоть кому! В глаза мне гляди, князь, пока
кровью они не залиты!

И посмотрел князь Игорь в глаза деве – там
был огонь голубой – непреклонный огонь полы-
хал.

– Кровь княжью прольешь – тебе не жить и
племя твоё изведут.

– А мне всё одно! Силой не возьмешь – тебе
горло взрежу, а потом и себе. Пусть молода я и
не знатна, но не стерплю поругания – головой в
омут легче.

Словно в забытии князь Игорь опосля был.
Дева уж давно пропала – как и не было ее вовсе, а
он всё стоял и стоял, к ране на шее траву прижи-
мая, что она всучила ему со словами: «Кровохлеб-
ка остановит кровушку – жми крепче, княже».

Через много дней не мог забыть ее – кручи-
нился.

– Что-то ты всё не в себе, княже! – опросил
его Ольг, что дядькой при нем был. – Уж который
день за тобой приглядываю – точно хвор ты.

– Хвор, верно! А скажи мне: ты же мне заместо
отца?

Посмотрел на него Ольг со вниманием.

– Что за речи такие, княже? Али не ведаешь ты, что не отец я тебе вовсе, хоть и назван им, а более, чем друг или брат, и не я над тобой, а ты должен крылья над нами всеми свои расправить, а я – только подмога в том – не более. Ты – князь, а я лишь дружину твою в повиновении тебе держать должен, пока в силу ты не вошел.

– А ежели ты отец мне названный и друг, и брат, то ответь: могу ли жениться я своей волей.

– Что за мысли, княже?

– Я спрос учинил. Ответь: могу аль нет?

– Можешь, если женитьба та силы тебе прибавит, а не оставит тебя без силы. По кручине твоей сужу, что тут без девы не обошлось. Так вот знай: дева или силы дает, или отымают. Тебе знать надобно то. Если есть кто на сердце – скажи. Вместе решим – благо то или нет.

И рассказал князь Игорь о деве на переправе через реку Великую.

– Как зовут? Где искать?

– Выше по реке от Плескова. А что имя – не ведаю. Статна – таких не встречал.

Усмехнулся Ольг.

– Вот так задача! Что ж, сыщем, княже. Немногие девы молодцами представляются на перевозе речном. Разузнаем. Взор, сказывал, особый?

– Глаз не отвесь. Будто явлено ей то, что от всех сокрыто.

– Сам сосватаю ее тебе, княже.

Сказано – сделано. Отправился Ольг на поиски девы с дружиной невеликой. Всё обыскали –

а девы-то и нет. И тут... местечко одно миновали, Выбуты, вроде как, что под Плесковым, вот там и увидел Ольг деву – и как жаром обдало его – она.

Статна и, хоть в одеждах простых, – горделива, высоко голову держит. И взор – глаз не отвесь – она.

Остановились рядом с ней всаднички, и Ольг заговорил:

– Кто ты, девица?

– Дочь отца своего.

– Помогите нам в розыске нашем. Задумал князь наш Игорь жениться, послал нас сватами. Да, вот только незадача: не знает он, где суженная его. И имени ее не знает. Всего и есть у нас история, что встретил он ее на переезде через реку, и вроде как в одеждах та была юноши.

– Кто же так сватов шлет?

– Тот, кому жизнь без нее не мила.

– За князя любая пойдет.

– Любая не надобна – только эта.

– Ой, ли! Одной ночью натешится, а там и иная глянется.

– Не глянется. Сердцем прикипел.

– Так уж и сердцем? А сказывал князь, что силой ее взять пробовал?

– Ты и это ведаешь?

– Чего ж не ведать, ежели на вые его сама отметину ставила.

– Отметину? Чем?

– Вот этим!

С этими словами дева быстро нож вынула незнамо откуда.

Сошел Ольг с коня, подошел к деве, поклонился и сказывал:

– Я – Ольг, сват Игоря- князя. Имя твоё знать желаю!

– Люди всякие кличут по-всякому: кто – Хельгой, кто – Эльгой.

– А как мать с отцом кличут?

– Про то у них и спросишь – ежели дойдет до того. Теперь же зови так, как привычно для тебя.

– Князь княгиней видеть тебя желает.

– А чего желаю я?

– Про то и спросил.

– Ежели сваты, то сперва к отцу с матерью – пусть они своё слово скажут.

И отправились они к отцу с матерью, там и сказали всё – честь по чести.

Там и узнали, что дочь она отца своего – Володимира, а зовут ее – Прекраса.

Отец и спросил у дочери:

– Пойдешь ли?

– Пойду! – вот и весь сказ.

Так и сосватал князь Ольг князю Игорю его жену верную.

И всё бы ничего, да вот только жрецы воспротивились союзу тому: «Не знатна, худородна!» – так сказывали.

«Как же не знатна, – отвечал им Ольг, конунг княжеский, с усмешкою, – когда она дочь моя названная и зовут ее Прекрасою Ольговой. И я отныне нарекаю ее Ольгою!»

Так решил конунг Ольг судьбу сына своего названного, князя Игоря и названной дочери своей – Ольги.

Не посмели жрецы прекословить ему за дела его славные, за подвиги его светлые.

А ка бы было иначе – не было бы потом Руси дивной.

Песнь об Ольге

Ой, Русь ты моя, Русь необозримая – всё леса, да степи, да горы, да реки – всё-то просторы великие.

Русь, родная моя, ты мне что мать, и как же не любить тебя, не томиться по тебе душой, как же не быть с тобой и в радостях, и в печалях, и в горестях.

Говорят, что походишь ты более всего на Большую Медведицу, что разлеглась вольготно с запада на восток.

Или рысь помянут, что терпением своим всех переможет, но более всего, говорят, ты сродни росомахи – что насмерть бьется за то, что своим полагает.

А как задует ветер во степях, да во топях твоих болотных, да в лесах дремучих, да и на всем свете белом, так и ищи ее – ту росомаху, днем с огнем, будто и нет её – от глаза худого сокроется она сей же час, схоронится – рядом пройдешь, не учуешь.

А ветер-то с дерев листву взыщет, рвет да гонит прочь, нытьё рождая на душе и тоску сердешную.

Буянит ветер – супротивника себе рыщет.

А еще он, бывало, летописье разоренное ворошит, брошенное жадной до грабежа рукой нечисти окаянной, с пеплом его мешая.

Разоренье – дело-то привычное.

На Руси завсегда было разоренье – изводился мир людской, память ничтожа.

Зачем же так?

А затем, что памятью своей люд ничтожен быть должен – не ведая, кто он и что он – так в старину говорили.

Говорить, может, и говорили, да вот только не всегда то на то выходило – помнил люд, что было когда-то, хоть и с небылью путая – из уст в уста славословье множа.

А мы-то к дому, к очагу горячему тянемся, да и к тем побасенкам, что под гусли плачем стелют-ся, незлобиво старину поминая неторопливую.

Поведем же мы, други, свой сказ о временах дальних да славных.

Сказ наш будет об Ольге, о княгинюшке, что была нареченной дочерью князя Ольга, лучшего из воинов той поры, о той, что сердцем обожжена была по кончине мужа своего любезного, Игоря, в землях Древа.

Князь-то Игорь шёл урок с древлян брать с дружиной малою – но то дело темное.

Почему с малой дружиною шел? С малой на такое дело не ходят.

А вот на праздник – ходят.

Сами они его призывали. Сами!

Вроде как на праздник – говаривали.

Вот и отпраздновали.

Гонцов опосля к Ольге заслали, что, мол, незна-мо как, ждем-пождем, а он в гости-то всё и не едет, а пошли по следу и нашли его, сердешного, со дружиною – разбойнички чуждые, видать, навали-

лись, да и порвали без жалости. А мы – схоронили его по обычаю – курган-то покажем, не взыщи.

Ох, ты, гой еси, а добры ли молодцы?

Нет, не добры. Воры они, право слово, воры – вороги лживые.

За ноги они его, да о двух берез... ох-охонь-ки-охо... и разметали, всласть глумясь...

А глумились они, о чести речь заводя, мол, по нраву ли ему честь, что оказана.

А глумиться так может токмо раб пропащий – души-то у них рабские, как ни крути, потому как велика душа от глумления подлого ой как далече лежит.

Каждому знать дано по стати его.

Кабы невелика та статья, то и знание невелико буде.

Ольге ясноглазой много было дадено, да и спрошено с нее немало – а по силам ли ноша?

Вот стоит она в светлой горнице своей к окон-цу личиком, а за спиной у нее Кнут недвижимый томится.

Все его Кнутом кличут, а имя-то его, что отцом-матерью дадено, и позабыто давно.

Соглядатай он верный – Ольгу служил, Игорю служил, а теперь вот и княгинюшке служит.

Он змеей меж камней втечет – ежели надоб-но, всё разгадает, всего дознается и донесет – нет для него преград – старухой ли прикинуться, иль слепцом черным – всё едино.

Он-то и принес Ольге весть горькую об Игоре да о смерти его, о том, что древляне перед смертью ему говорили – всё донес – был он там – послан

Ольгой был вдогон, да не успел он – к кончине прибыл.

– Говори без утайки!

Он и говорил, не щадя ее, что гутарили бояре древлянские по смерти Игоревой.

А мели они своими языками, что сватов зашли к Ольге, мол, всё едино ей вдовицей томиться, не совладать ей с властью-то.

– Знаю то, гонца прислали. Что еще? – вопрошала она, а у самой голос дрожал – тихо говорила, чтоб не так заметно было, да и лик отворотила, дабы судорогу на лице прекрасном не видал никто.

Говорил и говорил Кнут. Говорил, что казнить древом могут те, кто древу клятвы носят – древляне они и есть – казнили древом.

– Знаю! Что еще!

Говорил, что бояре сказывали, что, как возьмут они Ольгу за князя своего – Мала – так и сделают с ней что захочется – с нею и с ее зверенышем.

А зверенышем-то они Святослава называли – сына ее, коему от роду и трех годков нет.

– Зверенышем, говоришь?

– Так!

Мать со своим детенышем кровью вязана, пока под сердцем его носит – общая на обоих у них кровь. А как родится дитя, связь та всё одно не рвется вместе с пуповиной – ой, не рвется она, сердешная – на всю жизнь она. А худое что про дитя только скажи – то матери нож под сердце.

– Что князь Мал?

– С ними он. Знал!

– Что бояре его? Много ли в том повинны.

– А все и повинны! Все до единого – нет им чести. Тысячи их, ежели с отродьем счесть.

– Тысячи с отродьем, говоришь.

– Так!

Скажут вскорости, что в лице своем она не менялась – только горлом то ли вздох, то ли всхлип случался, как покои пустели.

Боль души от малейшего дуновения – точно в остальной мир веточки ее выставлены – нет-нет да и заденет о невесть что – тогда-то и боль.

Слышала, как шептались служки по углам, а рядом с ней старались склониться в поклоне низком, да и пропасть скоро долю с глаз.

Вдовица она. Слово то, что ушат кровью полненный – плещет через край от любого тычка.

Большое оно.

Ольга на расправу скоро была. Чуть что – взрезать по вые могла хоть кого ножичком острым, что завсегда под рукой томился.

А тут – вроде, как и руки опустила – замкнулась – непривычно то, молчала.

А слова от нее ждали – не было веры в то, что сдалась она на милость Мала.

И слово-то она своё сказала – о том речь опосля поведем.

А пока – о Царьграде вспомним.

Князь Игорь урок брал по одной «черне куни с дыма» – по кунице, значит.

А куда ту куницу потом девать? Торговать надобно.

И самая высокая цена на нее в Царьграде, да только вот какова беда: разоряют купцов, слав-

ных русичей да не русичей, в том граде высоком что на Босфоре, обирают – ни тебе злата, ни тебе товару.

Купцы – к князю, мол, не можем тебе деньги возвратить, всё отнято – и князь поход налаживает в земли заморские.

И приходит князь с воинством на лодьях своих – честь свою чтя, братъ назад отнятое.

И Ольг ходил, и Игорь. Ольг-то и под видом купца сперва сходил, чтоб самому всё узреть, на веру не велся, а потом и с воинством пришел немалым.

Договор тогда писали о двух сторонах листа – с одной на латинице, с другой – на языке руссов – «Мы, от рода русского...» – и далее всё-то больше имена иноземные, потому как купцы, видать, не совсем русичи-то – а они тебе любым именем назовутся и кем хочешь себя объявят, ежели прибыток есть – и всё-то он о торговле был, чтоб не чинили купцам тем разор.

Опосля договора Ольг щит свой на воротах приторочил – мол, договор и слово данное силушку несет.

Но вот только ромеи в Царьграде договор тот не собирались блюсти. Оттого и Игорь с походом пришел – дважды. Впервые – без удачи, а потом – с удачей.

В тот поход с ним древляне не пошли – отговорились слабостью своей, хотя тогда уж ясно было, что добром то не кончится. Потому на них и урок Игорь наложил поболее, чем на тех, кто с ним вместе с Царьградом силушкой мерялись.

Но кесарь Царьградский хитер. Он с Римом ежели и злобствует, но вражду свою с Римом он затевает только до той поры, пока дело русичей не касемо, а как только касемо, то тут у них с Римом и любовь случается, и любезность полная – рассыпается велеречиво.

И писал кесарь Царьграда Папе Римскому письмо, где и князя Ольга помянул, и Игоря.

И сказано там было, что кабы Игоря не стало вовсе на этом свете, то и дышалось б легче и Риму, и Царьграду – уж больно сильны русичи, трижды клятые. Но есть у них одна слабина – верят они слову данному, да договору писанному, отчего можно считать их людьми дюже глупыми.

Князь Ольг-то в битвах пал, князь же Игорь ежели и падет по какой иной причине, то останется только княгиня с малолетним детишком, и милое дело тогда власть-то в Киеве заховати.

Папа Римский, то письмо получив, думал недолго. Давно он смотрел на земли к северу, как на вотчину свою желанную. Болеславу Грозному в Моравию письма слал, чтоб свет истинной веры тот пролил на неразумных и чтоб при том с сынами римской церкви не ратовал, а обратил бы свои взоры алчные на земли языческие – словен да венетов. Склонятся они к вере истинной, да вот только одна беда – стоят на пути сём князья киевские. Но ежели Болеслав перетянет на сторону свою князя Мала древлянского, даром, что они с Болеславом через жен состоят хоть в отдаленном, но родстве, то и с этим делом совладать вполне по силам буде.

Князю же Малу, при всем любезном благоволении Рима, должно обещать всё – всё одно обещанье варвару песка пустого не стоит. И писал Папа, что, мол, надобно в сношении с князем Малом помянуть ему, что происходит князь Мал не из худого древлянского рода, а из родов высоких, вестготских – древних да славных – и в том Папа Римский большую имеет веру – ох, как это потом обернется для русичей – кровью, кровью – на тысячу лет кровью.

И помянули про высокое происхождение князя Мала – чего ж не помянуть, – и честолюбие своё дело сделало – выиграло: и стал он подбивать окружные племена супротивиться власти Киева – а там и случай вышел: заманили да и порвали Игоря – великое дело сотворили на радость Рима – теперь только и осталось, что власть в Киеве прихватить, что и представлялось задачей легкой – сватов послали – бояр Мала знатных.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается – княгиня Ольга всё и так поняла умом своим хладным. «Игоря не вернешь, согласна за князя вашего идти. Шлите сватов – на встречу не поскупимся» – такой ответ ее был.

Ей же вторили и поляне ее, кияне: «Князь наш убьен, и княгиня наша хочет за ваш князь».

В летописи запись потом вроде как состряпана была: «Князя твоего мы убили. Зверь он был, волк лютый, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь наш Мал» – только так ли то.

Принято было исстари, что ежели князя убили, то и жена и дети его, и надел его победителю

отходит, но то в бою честном, а кто его видел – тот честный бой?

Но покорностью Ольга всех провела.

Смирением напускным не только князя Мала посольных верить себе заставила, но и всю челядь смутила – немногие знали, что у нее на уме – разве что Кнут.

– Звереныш, говоришь... – всё вопрошала и вопрошала она Кнута, словно боль свою заговаривала.

– Так сказано было! – стоял он на своём.

– Так и буде им звереныш, – молвила она потом задумчиво, – и мать зверина им буде, – поворотила она к нему лик свой покойный – совладала с собой наконец, уняла сердца больноющую, – зови Свенельда, говорить с ним хочу.

И пришел к ней воевода Свенельд верный, и говорили они тайно – никого иного рядом не было – двоих для дела достаточно, для троих умысел тесен.

Малуша

Летит, летит времечко-то – что твоя стрела спущенная, а то и не летит оно вовсе – а сочится, точно ручеек слабенький от болотца темного.

Лет десять минуло в трудах да в заботах – ни серчая ни на что, не злобясь – но тут однажды вот что сподобилось...

– Пошло Малушу спортил?

Княгиня в гнев великом, князь Святослав стоит перед ней, понурясь.

– Тринадцать годков! Ты – князь и земли своей соль и защита! Честь ее. Земли честь! Честь – а не бесчестие! Рати твои, победы где? Сам дружину водил? Кровь свою лил? Ты только девок на ложе таскаешь? Такая у нас доблесть?

– Я покорен тебе во всем. Ты выбираешь жен, дети есть – Ярополк и Ольг. Что еще? А тут – я выбрал. Иль не позволено?

– Князь голову свою на брани кладет, только ежели у него сыны имеются. Иначе он люд свой сиротами оставит. Оттого – и жены, и дети. Я жен дала и дам – прав ты. Голову в пекло совать надо с умом, а не с безумия, и только ежели семя твое возшло. Кто встанет за землю русов, ежели ты в бою падешь? Кто? Сыны твои встанут. И сынов должно быть много, чтоб выбор имелся – не все они будут мудры и ратны. Народ выбрать должен и выбирает он князя из того, что есть. Князь шагу ступить не может, не подумавши! Умом битвы выигрывают! Умом! И хитростью! И ничем иным! Волки со всех сторон оборону держат, а ты всё в лоб норовишь – точно бычок! От того и на ложе ее потянул, не подумавши!

– Люба она мне! – вставил князь слово.

– Люба? Жена она или потешница? Кто она тебе? Люба! И где он – твой разум! Ты живот ее зрел? Заметно уже? Я узрела ту любовь, а значит и все узрели. Я ее и Добрыню детьми своими сделала! Пошто – тебя спрашиваю?! А теперь что людям сказать? Кто родится? Робичич? Такое ему имя будет в народе? На какие века это?

– Може и не сын будет?

– Може? Они из Древа. Дети княжеские. Забыл? Перечеркнуть всё дело моё вздумал? Я земли эти пошто собирала? Из темени на свет, на Русь, всех вытянула! Русь есмь Свет лучезарный! Я мир на земли здешние через великую кровь наводила, я жилы свои рвала и ради того на могиле отца твоего ползала! Я всю знать Древенскую извела под корень! Вместе с детьми! Потому как семя худое, поганое, всё одно взойдет пышно – и тогда уж кровь рекой на века – не унять! Они мне смуту древлянскую держат, не дают ей вызреть. Любовью! Любовью гашу ненависть! А ты ту любовь рушишь? Прочь с глаз моих, зови Свенельда – говорить с ним хочешь с глазу на глаз.

Успел Святослав с Малушей перемолвиться:

– Матушка в гнев. Яростна. Чуть голову не снесла.

– Знает?

– Знает. На меня весь гнев. Я повинен. Тебя не тронут.

Малуша вздохнула.

– И неча вздыхать. Сказано же: не тронут.

– Она сказала?

– Я сказал. Я за всё в ответе. Отошлют меня. Если вернусь и с тобой чего – быть беде.

– Не надо.

– Надо. Не отступлюсь. Знает она. Я – сын ее, значит, весь в нее – ее плоть и кровь. Она не отступает, значит и я не отступлю!

И пришел Свенельд, и говорили они с княгиней недолго. После разговора того Свенельд

князя Святослава со дружиной в дозор дальний услал.

А княгиня Малушу позвала к себе.

И вошла Малуша, встала у порога.

Княгиня на нее взгляд быстрый бросила и сказала, хоть и строго, но, по всему видно, сердцем отошла.

– Подойди.

– Прости, матушка!

– Тебя-то за что? Как дитё, толкается ли? Сама еще дите, а тут – такое!

– Толкается.

– Большое оно больно. Мальчика жду – велик живот и лицом не дурнела, значит мальчик. В деревню тебя пошлю. К бабкам. Мала ты еще для таких игрищ, но чего теперь-то разговор вести. Трудно рожать будешь. В муках. Быть будешь. Бабки всё сделают – самых сильных знахарок да повитух соберу – они бормотаньем своим любую боль заговорят. Я слово давала – ты мне дитя родное – от слова не отступлюсь, пусть хоть всё тут округ взвоется вверх и вниз падет! Чтобы ни было, верь: он мне внук, а ты – жена Святославу, а не для потехи. Сказано!

– Благодарствуем.

– Рано благо раздавать. Ты роди сперва. О том все мысли. Как родишь, заберу тебя сюда – нужна ты мне. Дитя на время кормилицам да бабкам оставишь. Добрыню приставлю к нему со товарищами – чтоб целы все были. И не бойся меня. На твоей я стороне. Не виню ни в чем. Гневаюсь, но не виню. Поняла?

– Да.

– Подойди к поцелую.

Подошла Малуша к поцелую. Поцеловала ее княгиня в лоб и отпустила тот же час – увезли ее в деревню, сохранять.

А княгиня вызвала Кнута. И пришел Кнут.

– В Царьград поспеши. Знать хочу всё про кесаря тамошнего Константина Багрянородного.

Знать хочу: как к нему надо ехать и как подъехать, и чтоб вид у посольства был и в чем тот прием состоит. Слышала я, что у него дочери на выданье – надо знать, что они и кто они – мало ли когда сгодится. Все, что может быть хорошего или худого от визита такого, знать хочу.

Царьград не прост – ужом вейся, а распознай всё, любая безделица важна – любая соринка пропащая.

Уж больно кесарь об нас печется, всё пролезть к нам норовит – через Рим ли, да и сам по себе.

Кого он нам подослать может? Иль уже подослал? Убийц, наймитов? Хазар иль печенегов? А может, болгар? Князь наш в подвигах ратных куда весьма скромн.

– Дорастет – время только дай.

– Нет времени. Передышка нам нужна – хазары, чую, вскорости поднапрутся под стены.

Потому и еду к Багрянородному. С ним союз – чтоб он раньше нас с хазарами не сторговался. А с Римом союз против него. А с Оттоном готским против них обоих. А с печенегами против всех. В старину говорили, что князь и со змеем целует-

ся – ежели то его детям в пользу. А дети мои – весь наш люд. Понял ли, что мне trebно?

– Как не понять!

– Тогда в путь, не мешкая!

И волхва княжна к себе вызвала. И пришел волхв.

– Знать желаю грядущее, – сказала она ему, – Что скажешь? Душе моей зябко. Говори, что видишь! Что с Русью будет? Что со мной? Что с князем? Что не так?

– Ты ли в путь сбралась? В Царьград.

– Ка бы не нужда – не сбралась бы.

– И я про то. Покойна будь. За Русь, за себя и за князя. Багрянородный с тобой встречу иметь – и будет, и хочет – любопытен он дюже. Держи голову прямо, высоко и горделиво, будто крылья за спиной и будто за тобой вся сила земли твоей неисчислима. Будто махнешь ты рученькой своей и не будет Царьграда. Будто дружина твоя – не сотня, не две, и не тысяча, а сто тысяч – отборнейших. Сила твоя в духе твоём – он у тебя велик, и сама велика ты. Помни то. Не сломит он тебя и не обольстит. Слушай саму себя – обведешь его вокруг пальца – умней тебя правителя нет. Мягко согласишься со всем и извернись змейкой гибкой – то в твоих силах, передумаешь ты его, превозможешь. Вероломства в нем дюже богато. Ты ответишь вероломством на вероломство. Стократным! И никак иначе – иначе за слабую почтут. Он о себе много думает. Удивишь ты его.

– Что князь?

– Взрослеет богатырь не по дням, а по часам. Оставь его Свенельду – воин выкуется и всех положит.

– Долго ли мне ждать сего?

– Недолго. Хазар он истопчет. Союзом с Царьградом время выиграешь – на то он и союз – правильно то. А так – невелика ему цена. Печенегов берегись пуще, чем хазар лживых – в дружбе будут клясться на крови, а нож-то за спиной завсегда приговорен. Ненадежны, лукавы, продажны – слово не держат.

– Все ненадежны.

– То так, но эти – особливо! Гниль во всём и гнили много. Все преодолеешь. Не сомневайся. Вкруг себя гниль отсекай – чуть кто косо смотрит – не жить ему. Дружина твоя, что псы лютые, чуют силу твою – день ото дня она крепче.

– Что о вере отцов скажешь?

– Многое ведомо волхву, княгиня, что изменить он не в силах. Волхв видит то, чему быть суждено. Внутри человека живут звезды. И звезды слышат всё, о чем бы он ни помыслил. И Бог слышит, как ты его не называй. Сделаешь ты, что задумала и сделать должна – неизменно то. Грядущее, как и прошедшее, есть всегда, от того и ведомо оно мне, а от иных скрыто – не обучены они смотреть в глаза судьбе, а я обучен, помогу тебе во всем – для того и призван. Делай то, на что сподобилась, ведомы мне твои мысли – не страшись их.

В Царьград

Ой ты, Русь белая, Русь пригожая, Русь любимая и непобедимая, земли твои то собираются под руками великими правителей прозорливых, то разбегаются, как только народ твой, особливо князья, мельчать станет, да как брат на брата пойдет – великие-то сбиратели земель русов, чай, не каждый год народятся – то рождение есть чудо чудесное, а оно только в муках тяжелых случается.

Кесарь царьградский, василев с Константин Багрянородный власть-то полную получил в Царьграде своем, почитай, аккурат в те годы, как княгиня Ольга с древлянами разделалась.

Знавал ли он о русах, князе Игоре, и о смерти его, и о мести за смерть ту?

Как не знать.

Русы, русы – ох, и набирают же они силушку, ни на что не глядя, всё-то им нипочём.

Велика Русь, но более всего величие Царьграда – так все кесари тамошние полагали и полагали они, что Царьград всем городам – царь и повелитель, и все короли перед василевсами склониться должны, воле их внимая.

Все – окромя русов, те так не полагали – никогда. А за шесть лет до воцарения Константина, в битве за Крит с сарацинами корабли царьградские потоплены были все, а восемь людей русов в той битве были на стороне ромеев – они-то и сохранились в битве той.

Иметь русов в союзниках всем василевсам хотелось, но ромей не были б ромеями, если б не

почитали для себя лучшим загребать жар руками чуждыми, а победы себе приписывать, прибыток весь собирая.

О посольстве королевы ругов Эльге – так именovali княгиню Ольгу в Царьграде – было условлено заранее – и день был, и час был положен.

Что же полагали о визите том при дворе Константина Багрянородного? Полагали, что архонтисса ругов прибывает неспроста – союз ей нужен с Царьградом ради возвеличивания земель своих.

А еще слухи ходили, что крещена она в христианство давно и тайно и что не язычница она вовсе, но христианка, веры арианской, что хуже языческой, потому как из еретиков они.

Что же еще ромеям виделось?

Виделось, что в посольстве заявленном, от Ольги значился некий «племянник» и «люди Святослава», но никакого племянника у Ольги соглядатаи василевса не нашли, и значило это то, что прибыл сам Святослав.

Но зачем?

Зачем скрывать его?

А затем, что, как видать, возжелала Ольга породниться с самим василевсом – дочери у того имелись – Зоя, Феодора, Агафия, Феофано и Анна – выбирай не хочу – но желание то было тайное, не всем явленное, а чтоб, при неудаче, лицо соблюсти, решили, как видно, имя Святослава сокрыть.

Но Ольга, может, и хотела оженить Святослава, да хотел ли Святослав – только кто ж его спрашивал?

Но сватовство то, а, тем паче, женитьба не по сердцу были вовсе Константину Багрянородному – он-то русов боялся, как ни крути, и сына своего от союзов с русами предстерег, более стремясь к союзу с печенегами, а то и с ненавистными хазарами.

Но русы могучи – тут следовало бы капризы их потерпеть, хоть и напомнить о том, Царьград есть всем царствам и городам царь.

Словом, Ольгу ждали в Царьграде с нетерпением, любопытством, с высокомерием и тайным неприятием и чуть ли не со злобством.

А путь-то был не близкий – по концу весны поехали, дабы к середине лета успеть – многострадальное, страшное, трудное и тяжкое куролесье – ибо по реке шли и морю на лодьях да насадах – опасны земли сии по обоим берегам – кочевые там.

Вниз шли к Понту Эвксинскому – имя ему у киян было Русов море, ибо русы там голову держали.

Охранение на судах и берегу с обеих сторон на конях – ежели кого найдут в кустах, несдобровать им, посекут нещадно.

Семь порогов прошли. Первым был Эссупи, означает сие «Не спи»; вторым – Улварси или Островунипраг – «Порогов остров»; третьим – Геландри, означает «Шум порога»; четвертым – Аифар, Неясыть – «В камнях сих усов гнездовья»; пятым – Варуфорос иль Вульнипраг – «Большая заводь»; шестым – Леанти, он же Верупи – «Вод бурление»; седьмой – Струкун иль Напрези –

«Малой порог» – все пороги прошли вельми натужно – у любого порога печенеги сокрывшиеся имелись – люто то, глаз да глаз там.

Минуя пороги, всех людей с лодей на брег сводили, сами же лодьи с бережностью у кромки берега вели, а то и несли или же на катках катили; но сперва выходила стража – вороги могли быть в засаде в сей же час – отряженные люди неусыпно хранили всех от набега – сухим путем, по бережку, вели людей – верст шесть выходило, не менее; княгиня и обслуга – верхом на конях или в повозках, пока не пройдут все пороги.

А сами лодьи русов крепостью отличались и великим проворством – руля и ветрила слушались весьма, легки были, прочны и на веслах быстры – недаром же их купцы варяжские ценили и всегда на них перебирались по пути из варягов в греки – те лодьи по любому порогу пройдут – очень плоски донышком – и о камни не заденут, а как лед случился, так на лед их вытяни, парус разверни и по льду они пойдут, как на салазках, да и посуху – на колеса поставь – под парусом тем пойдут – князь Олег так ходил и не только он. А о парусе – разговор-то отдельный – русы его без шва делали, а как делали – про то все молчали – секрет выведать многие хотели, да только молчали мастера, как в рот воды набравши – так и ушел тот секрет в века.

В свите княгини и Малуша была – разрешилась она от бремени мальчиком – Володимиром княгиня повелела его наречь, в честь отца своего. Много было с княгиней и иных прислужниц – и

простых, и знатных – и купцы были, и даже служитель веры Христовой – отец Григорий – все своё назначение в походе том имели, без смысла никто не шел.

За порогами селенье значилось – так и звалось – Запорожье – отдыхали там дня три.

Далее – Крайрйская переправа и здесь немало беспокойства печенегии могли принести.

Затем привал на острове – там великий дуб старинный имелся, почитаемый всеми русами, священный был дуб. Жертву ему несли, охраняли, цепями златыми опоясывая, потому как дуб на границе миров, живых и мертвых, его ублажать надо, и хлеб, мясо, просо и прочая – всё несли, а по цепям черного кота пускали, воркота – ворковал тот кот, чтоб зло отгонять, и еще непременно черного петуха дубу дарили – от жребия зависимо, что с петухом тем сотворится: зарежут, съедят или же живого пустят.

И снова в путь: устье Днепра, днепровский лиман, чрез днепровский лиман – в Днестр, затем к притоку Дуная – Селине, и везде они – печенегии неугомонные – всё-то они бегут, неугомонные, по берегу Селины за лодьями русов, стрелами достать пытаюсь. Затем – в устье Дуная, по рекам Варне, Дичине – но то уж земля болгар, нет там печенегов и, наконец, земля ромеев – Месемврия.

Такой путь проделали княгини Ольга и ее посольства – почитай за два месяца.

В конце июля-начале августа лодья Ольги-княгини вошла в бухту Золотой Рог – вот он, Царьград, княгинюшка, перед вами.

А там есть на что поглядеть, с Златых Ворот начиная – широкие, мощенные площади, пути к ним просторные, заполненные разноголосым людом, каменные дворцы, колонны величавые, портики, фонтаны, статуи – богат был град на разные разности да и чудности.

Но княгиню Ольгу волновали не дворцы и великолепе их, а стены каменной крепости, укрепления, бойницы и ее врата – с вниманием всё осмотрела, времени хватило.

А как встали у причала, так к лодье княгини старушка нищенка прибилась – все просит да просит. Заприметила ее княгиня – к себе пригласила, одарила и говорить с ней с глазу на глаз возжелала.

Как оставили их – так нищенка та одежды свои грязные скинула и обратилась в Кнута-соглядатая.

– Говори, что разузнал! – проговорила княгиня.

И сказал Кнут – о церемонии, о визите, о нравах здешних, о придворных василевса – кто слаб, кто жаден, кто льстив и в ком угроза нешуточная есть русам. Сказал, что хоть дата приема и назначена, но у кесаря принято томить приезжих ожиданием, дабы не токмо величье Царьграда явить, а еще и поглядеть, как приезжие терпят унижение, а то, как они его терпят – важно для понимания слабости правителя.

Дщерей своих за варваров Константин не отдаст никогда, и говорить тут нечего – хоть и обещаны будут – страшится он всех и вся.

Помощь русов нужна ему, дабы противостоять сарацинам, да и своему же военачальнику Никифору Фоке – доверия к нему не имеет – тот силу набирает и в воинах, и в народе – стережется он его – вот что сказал Кнут княгине, за что был ода-рен весьма.

Визит к василевсу

Ожидание потянулось – и тянется оно, и тянется, и вечным чудится – конца- края ему не видеть.

Дни за днями кочуются, а визита-то всё нет, как нет.

Вельможи кесаревы, лукавые, отговариваются сложностью, да и пышностью одного. Однако всякий раз, как о переносе приема речь заводят, так всё пытаются по лицу княгини угадать, каково ж ее настроение.

Княгиня же, Ольга, безмятежна – одно спокойствие и смирение на лице ее виднеется – ничего им не понять, в смущении они пребывали – не того они ожидали.

По слухам, нрав княгиньюшки, ох, как крут – молнии взор метать должен, а тут – тишь да благодать полнейшая.

Видела Ольга все потуги их – яснее ясного они были: кесарь вздумал терпением меряться, так мы его перетерпим – может не сомневаться в том.

Святослав крепился, но, всё одно, матери высказал наедине, мол, как она сносит то – унижение же, ждем-пождем уж скоро второй месяц на исходе, и ежели б его воля – поворотил бы

лодью к дому, а уж потом бы пришел с воинством – ответили б за всё.

Отвечала ему Ольга:

– Князь сдержан должен быть. Горячий князь долго не правит. Росомаха упрямством берет, рысь – терпением, волк – умом, а вот от гадюки удара никто не ждет. Так что ум волка, упрямство росомахи, терпение рыси и удар гадюки – вот что тебе надобно. Но ум, разумение – главное оружие князя, а уж потом всё иное. Нетерпение наше явит нас перед василевсом во всей красе, а так – загадка мы для него великая, удивлен он, и удивлен он нами будет ни раз и ни два – время на то есть.

Чую я, что печенегов на порогах он подкупал, дабы нам козни чинить – ну, да поглядим мы еще, чья в терпении возьмет. Пока у нас за спинами печенеги с хазарами маячат, нам Царьград не воевать. Сперва хазар разбей, печенегов рассей, а тогда и Царьграда время придет. Как воротимся в Киев, на хазар пойдешь – потревожил и отско-чил – пускай о покое забудут на многие лета. Успешен будь в боях и положишь всех.

А о василевсе здешнем не печалься – я печалится буду. Меня он зреть должен, а не тебя.

Твое дело – сторона – видеть всё, слышать всё да на ус мотать.

– Чести в них нет. На кой тебе они?

– Чести ни в ком нет. Как себя при встрече держишь, так и они себя с тобой держат. Как явишь себя перед ними, то и узрят. Но чтоб они тебя узрели и запомнили, встречи те нужны. Для того

мы здесь, достоинства полны. Игрища то. Смотрят они на тебя и решают: им на тебя напасть или ты на них напасть в силах. Мы должны показать, что мы голову ни перед кем не клоним – значит, можем напасть – тогда они нас страшатся, одаривают, договоры с нами кропают, кои нарушаются из раза в раз и гроша ломаного не стоят, потому как чести на них нет, как и сказано тобой. Но пока они договоры свои выводят с выкрутасами, передышка нам выходит, и мы от нее крепчаем. Ради нее всё. Ради нее мы здесь. Взор мы им туманим – чем угодно – всё в дело идёт.

– И вера отцов?

Посмотрела ему в глаза княгиня Ольга взглядом покойным и сказала тихо:

– И вера отцов. О вере после переговоров, разговор долгий будет.

На том и закончили.

Девятого сентября, в день четвертый, состоялся прием.

Княгиню со свитой провели в большой триклин Магнавского дворца.

Император встретил ее на троне Соломона.

Ольга шествовала безмятежно с ее близкими, впереди всех прочих женщин, они же по порядку, одна за другой, следовали за ней – жены знатные и наиболее видные из служанок.

Одета она была скромно вельми, но так изысканно да искусно, что, казалось, от всего облика ее сияние шло – ткани на ней не заморские были, свои – необычны, но пригожий облик создавали.

На руке имела одно украшение – перстень заветный, красно камня – спокойствие и мудрость он дарил.

Шаг ее легкий был, но борз, изящества полон и горделив – голову высоко несла, спина прямая, что твоя стрела.

За ней вошли послы и купцы архонтов Руси и остановились позади, у занавесей.

Когда Ольга встала на указанное ей место перед тронем, заиграли органы, и трон вместе с императором нежданно взмыл вверх, влекомый устройством хитроумным, опосля плавно вниз устремился. Неожиданность сия поразить должна была княгиню и душу восторгом исполнить – так церемония та виделась, но Ольга осталась в лице своим достоинства полна.

Тогда же логофет велеречивый, ведомый протоколом, от имени василевса задал архонтиссе Руси немало вопросов – о здоровье самой государыни, ее вельмож и благоденствии ее страны.

Пока он речь ту держал, львы, затейливо устроенные, золоченные, у подножия трона, приподнявшись на лапах, рык издали и хвостами заводили, а на ветках золотого древа, рядом расположенного, птицы искусные крыльями хлопотали и щебет развели – Ольга же на сие и глазом не повелась.

Тотчас же служки дворцовые в зал дары Ольги доставили – василевсу ромеев.

О медах, воске, кунях – и говорить нечего – золото несли, камни, жемчуга речные – глаз не

отвести, северные, тяжкие для головы да шеи – цены великой.

Ольга ответное слово молвила – о здравии василевса, его семьи, челяди и стране.

Голос ее был подобен безмятежному ручью лесному, хоть и звучен, но приятен был, а после того тишина наступила; после вновь зазвучали органы, и княгиня со свитой, голову слегка склонивши, вышла.

Вослед затем Ольга отдыхала какое-то время, опосля провели ее чередой залов, великолепья в убранстве полных, в триклин Юстиниана, где ее ожидали супруга василевса, архонтисса Елена Лакапина, и ее невестка Феофано. Там всё повторилось, но без львов, птиц и иных чудищ.

После того Ольгу вновь проводили в комнату для отдыха.

Затем в триклин Юстиниана пришел и василевс, позвана была и княгиня Ольга – она беседовала с василевсом столько, сколько пожелала. Разговор осторожный повелся – никто из говоривших собеседнику не доверял – каждое слово значеньем исполнено, лишнее с губ не срывалось, сперва всё вертелось вокруг да около, и, наконец, василевс спросил, глядя в её очи:

– Чего же хочет от нас королева ругов?

– Равного союза с тобой, василевс!

– Василевс, что Христос среди апостолов. Он им не равен. Царьград же – царь над городами. Царьград не равен Кияву.

– И потому купечеству моему, что в посольство с собой собрала, чинился тут ранее полный разор,

а Кияву – козни по произволу. Князь Игорь договор с тобой имел, по нему мы должны Царьград защищать, а Царьград по тому же договору нам ничего не должен. Сарацины вас с границ давят, нас – хазары. Единением остановим тех и других. А сегодня печенегам грамоты шлет Царьград и злато против нас. Но пустое то. Хазар мы все одно раздавим, а там передавим и печенегов – с Царьградом или без. А болгары пусть хоть все крещены будут тобой, но Царьграду они враги блудливые. Главный же враг твой тот, что за спиной твоей – сарацины. И роскошь дворцов твоих только привлекает гиен. Златом доблесть не купишь и чти за злато не сотворишь во ратях.

– Умна ты, архонтисса, править бы нам с тобой вместе во благо. Однако единение возможно с только равным!

– Так уравниай же нас, кесарь! Равенства хочу! У тебя дочери, у меня – сын – князь и земли своей владыка! А я готова принять Христа во спасение земель и чада своего. Для того и приехала. Сверши обряд и сделай меня дочерью своей во Христе.

«Только ли для того и приехала ты, королева, умом и хитростью богатая», – подумал тогда василевс, но в крещении не отказал – назначил время.

Тем же днем в том же триклине Юстиниана состоялся клиторий – званый обед в честь архонтиссы русов и посольства её.

Обед сей был проведен с нарушением ритуала. Когда на трон воссели жена василевса – деспина и невестка ее, архонтисса русов стояла

сбоку. Когда трапезит по обычному чину ввел архонтисс – сподвижник королевы, и они совершили проскинесис – пали ниц перед троном, архонтисса же русов, в нарушение устава, ниц не пала, а лишь, немного наклонив голову, села на том же месте, где и стояла. Певчие на том клитории распевали василикии, разыгрывались также и всякие театральные игрища.

В это же время в Хрисотриклине пировали все послы архонтов Росии, люди и родичи архонтиссы, и купцы. После обеда получили: ее племянник – 30 милиарисиев серебром, восемь ее людей – по 20 милиарисиев, двадцать послов – по 12 милиарисиев, сорок три купца – по 12 милиарисиев, священник Григорий – 8 милиарисиев, два переводчика – по 12 милиарисиев, люди Святослава – по 5 милиарисиев, шесть людей послов – по 3, переводчик архонтиссы – 15 милиарисиев.

После обеда состоялся десерт в Аристирии, где стоял малый золотой стол.

На этом столе и был сервирован десерт в украшенных жемчугом и драгоценными камнями чашах.

Здесь сидели сам василевс Константин, Роман – багрянородный василевс, багрянородные их дети, невестка и архонтисса. Было вручено: архонтиссе в золотой, украшенной драгоценными камнями чаше: 500 милиарисиев серебром, шести ее женщинам – по 20 милиарисиев и 18 ее прислужницам – по 8 милиарисиев.

Крещение и прощальный прием

Крещения совершил Патриарх Константинопольский Феофилакт. При крещении Ольга получила имя Елена – так писано в летописях.

Феофилакт Ольге слово сказал: «Благословенна ты в женах русов, ибо оставила тьму и возлюбила Свет. Благословят тебя русы во всех грядущих поколениях, от внуков и правнуков до отдаленнейших потомков твоих» – и это есть в летописях борзописных.

Крестились же вместе с Ольгой и сподвижницы ее, и прислужницы – и Малуша крестилась.

Святославу предложено было, но он отказал: «Веру не сменю – не позорь меня перед дружиной!» – «Ты порывист и нетерпелив, князь! – сказала ему мать, – Ты такой, какой была бы я – будь я мужчиной. Но я – женщина. Кому-то в семье надо быть мудрым! А что до дружины, так ты вдов и детей их не бросай, и дружина с тобой завсегда будет, потому как ты отец им!»

А про обещание Багрянородного сделать Ольгу дочерью своей нет ни слова – ни в одном летописье – да и было ли то обещано?

Но во всяком случае, сидела она потом на приеме прощальном рядом с деспиной – женой императора, что по протоколу, коей Константином Багрянородным соблюдался неукоснительно, соответствовал титулу патрикии – высшему титулу.

Но до прощального приема времени было более месяца. Что же делалось во время то?

А в то время делалось то, что назовется потом великим торгом – никак договор не могли заключить – и василевс, и Ольга бились за каждый пункт его – никто не хотел уступить.

Василевс видел Русь в полном подчинении Царьграду, а вот Ольга не уступала ни на йоту – только союз равных. Русь сама по себе и за ней остается всё – под самую Корсунь, да и сама Корсунь в совместном пользовании, поскольку защита ее падает на русов – а раз так, то и она, получается, русам и принадлежит.

На это василевс пойти не мог.

Мало того, Ольга требовала особых привилегий для торговли и настаивала на независимости Церкви Христовой на Руси от Патриарха и Царьграда – что тоже было невыносимо.

День проходил за днем, а договора всё нет.

Равного союза с Царьградом у Руси не вышло.

Наконец был дан прощальный прием.

Восемнадцатого октября, в воскресенье, состоялся клиторий в Хрисотриклине.

Василевс сидел с русами.

Другой же клиторий происходил в Пентакувклии св. Павла, где была императрица – деспина с ее багрянородными детьми, с невесткой и с архонтиссой русов.

И было выдано: архонтиссе 200 миллиарисиев, ее племяннику – 20 миллиарисиев, священнику Григорию 8 миллиарисиев, шестнадцати ее женщинам – по 12 миллиарисиев, восемнадцати ее служанкам – по 6 миллиарисиев, двадцати двум послам – по 12 миллиарисиев, сорока четырем куп-

цам – по 6 миллиарисиев, двум переводчикам – по 12 миллиарисиев.

А то, что архонтиссе выдано на дорожку не 500, а 200 миллиарисиев говорило всем послам, что недоволен ею василевс.

После всего этого посольство Ольги тронулось в обратный путь.

Василевс пребывал в величайшей досаде от невыносимых притязаний Ольги.

Ольга же свою неприязнь ярую от всех укрывала спокойствием своим и кротостью – но знали ближайшие про кротость ее не понаслышке и на глаза ей в то время никто старался не попадать – все взор отводили.

Святослав же не задал матери ни одного вопроса – знал он, что такое ярость её – время должно пройти. Все молчали – но потом она, вроде как, светла лицом стала – время прошло.

Святослав тогда подошел и сказал:

– Отомщу ромеям!

– За что? За науку? – рекла Ольга, покоя полная. – За то, что напомнили нам о достоинстве? Верности? Чести?

Княгиня устремила свой взор вдаль.

– Что ты знаешь о мести? – продолжила она после молчания и добавила:

– Мечь в низ живота бьет со всего маху – до крика. А потом-то огнем-жаром тебя палит – всё жжет да жжет нестерпимо, а после холодом треплет – один только холод вверх по телу твоему медленно и неуклонно струится-взбирается, всё вверх да вверх, точно вода ледяная, и заливают

до горла – дыхание не перевесть. А как ты понял, что делать будешь, так и отпустило тебя – вот тогда и верши месть свою – твори ее.

Мстят все – благородные, худородные – все. Крови все алчут.

Худородством меня попрекали жрецы, когда я за отца твоего шла. Худородства я всегда хотела избежать. И для себя, и для Руси. Союз с Царьградом видела. Но ему не быть, не склонившись пред ромеями. Склониться – себя потерять. Помни то. Ни перед кем Русь не склонится! Ни перед кем! Никогда! И ни за что! За всё злато мира не склонится, потому что Русь – это всё, это весь мой и твой, и люда нашего мир и есть, а злато – ничто, ничтожно оно, хоть реки его будут к тебе течь – ничто!

А что до Багрянородного, так он сам худороден, и от худородства своего страдание имеет – упрекают его им, не верят, что рожден он там, где и должен был быть рожден василевс, от того и зовется он Багрянородным, где ни попадя – везде и всюду, чтобы помнили ежечасно. И держится он за устав свой, аки мышь за соломинку дохлую.

Но нас он еще помянет – дай только срок, а вот срок его будет короток – смерти его тут жаждут многие.

А знать-то наша, что в посольстве была, что родней мне зовется, на богатства Царьграда взирала с завистью – по глазам то читала. И зависть та на века вечные: то, что на земле своей, будет почитаться за низкое, а что там – за высокое.

Не ведомо нашей знати, что слово «знать» от знания – знать должна знать, ум иметь и во благо его обращать – люду, потому она и знать – а не для того, чтоб шелка заморские на себя накидывать в безумьи липком. Продажны они! Купить их можно! Легко! За щепоть! Предадут. А пред предательством тем всё – щепоть – что горы злата, что только горсть.

Всему заморскому поклоны бить – себя не чтить. За худое землю родную почитать – последнее то дело. Своё царствие небесное на земле родимой строй – сам твори, ни на кого не надейся, окромя себя самого. Своей землей и людом своим дорожи и гордись – так-то!

И разбуди свой ум – он без мыслей мечется, а, отметаившись, чахнет.

Так говорила Ольга с сыном своим.

Пока шли до Киява, на веслах сидели все мужи – Святослав ни в чем не уступал дружине, сидел на веслах посаженным сиднем, как и прочие вои – на то они и русы иль росы – что означает «гребцы с севера».

А ежели грести ни день и ни два, а с месяц и поболее, то руками можно потом подковы рвать, а уж меч в руках тех будет порхать, что твоя пушинка-былинка.

Года не прошло, как Константин Багрянородный пожалел о своей неуступчивости королеве ругов.

Послы его прискакали в Кияв искать у Ольги помощи супротив сарацинов – злата навезли.

И послам было сказано: «Вои русов готовы помочь Царьграду, но только в том случае, если сам василевс придет в Киев с послами и отстоит перед воротами града Киява столько же, сколько стояла княгиня Ольга в посольстве своем перед воротами Царьграда!» – и злата не взяли – не всё за него купить можно, особенно – князя.

– Так и передать василевсу? – спросили послы княгиню.

– Так! – отвечала она, – Слово в слово. И еще добавьте ему вот эти мои слова: «Ошиблась я!»

Ольга стояла и смотрела на то, как уезжали ни с чем послы Константина. Святослав подошел к ней сзади.

– Мы начинаем строить каменный Киев! – сказала она ему, не оборачиваясь, – Хочу неприступную крепость. Кнут привез зодчих из Царьграда. Тайно.

– Откуда деньги?

– Багрянородный мне подарил немного – на начало хватит.

– Там мало.

– А я у всех, кому роздано было, отобрала, и у тебя заодно.

– И у себя?

– А у себя князь отнимает в первую голову. Или же он не князь, а помело поганое.

– И у отца Григория?

– Конечно. Он мне сам их и отдал. Без понуждения. У тебя на хазар десять лет – больше не дам. Вернешь нам земли отнятые. Все. Хочу разорения хазар. Дотла. Сожжешь всё и всех – вот это и есть месть – настоящая, стоящая, от времени темная.

Но всех – это верхушку, простых не трожь, сделай простых своими друзьями. Позови мне Свенельда – говорить хочу.

И пришел Свенельд. И говорили они.

Много воды утекло с той поры.

Святой нарекли Ольгу в вере православной чрез многие лета за то, что насмерть стояла она за сына своего и детей его, за землю свою и за народ свой.

А про титул, что василевс ей дал – патрикея – люд на Руси не забыл.

Теперь хитрого прозывали Патрикеем, а уж в сказках Лису, что Льва, царя всех зверей, вокруг пальца обвела, и вовсе звали все Патрикеевой.

К Оттону Первому

С умом жить – тешиться, а без ума жить – мучиться.

Всё, что Ольга делала – от ума, от ночей бессонных, от мыслей хладных, что тот сон гонят. Ночь продумает – утром готово решение.

Через год после неуютного посольства василевса к Киеву, княгиня Ольга обратила свои взоры к Оттону.

Оттона Первого признали королем в пяти германских землях, но ему, до краев жадности полному, хотелось большего, ему снились славы Карла Великого – короны Великой Римской империи. Начал он с северных провинций – тамошние герцоги не очень-то подчинялись Риму – захватил их – теперь и с Римом договариваться ему было легче.

Власть Папы Римского над своими провинциями не казалась такой уж прочной – Сицилия давно была захвачена сарацинами, Кипр – в огне войны, с севера – Оттон, а Царьград со своим вероломством и скаредностью разогнал последних своих союзников.

Княгиня вызвала Кнута и заговорила с ним:

– Поедешь к Оттону. И чтоб ни одна душа о том не проведала. Полгода тебе на всё. Оттон себя императором Рима мнит и истовым защитником веры Христовой. Надо будет – и монахом прикинешься. Монахи-скитальцы в почете у Оттона германского. Слух ходит, что смотрит он на Русь, как на вотчину свою – хочу всё о том знать.

После того призвала она к себе волхва и говорила с ним:

– Послов к Оттону хочу слать – вроде как в союзники набиваюсь. А на самом деле хочу знать, не собирается ли он к нам нагрянуть. Что скажешь?

– Мысли стройные о Руси германцев не посещают. Но сказать, что совсем о Руси они забыли, тоже никак нельзя. Шли посольство. Оттон всюду епископов своих засылает – вроде бы верой в бога они озабочены. Соглядатаи они верные – всё разнюхают, что плохо лежит.

– Знаю то. Пусть вынюхивают. Много им не дадим разузнать, а вот то, что поход на Русь дорого ему встанет – в этой вере мы его укрепим. Тот соглядатай не страшен, которого ты сам у врага выпросил. Понять хочу: ежели власть князя от бога, то и церковь под князем быть должна –

патриарх под князем быть должен. И Оттон, и Багрянородный так делают, а вот Папа Римский сам править хочет – от того и смута у него – герцогов Папе не унять, Оттон верх возьмет.

– Верно то. Ты и так всё знаешь и обо всем думу имеешь – славно то. Но зачем тебе тогда я?

– У зеркала вопросы легче задаются, и ответы на них легче ищутся. Не обессудь, что за зеркало тебя держу.

– Понимаю. Волхвы, что власть твою не приняли, в горы ушли, а те, что приняли так, как и я, с народом своим остались – вместе долю делить. Помогу чем смогу – хотя б и зеркалом.

Через полгода прибыл к княгине Кнут и доклад имел о том, за чем послан был – подробнейший.

И поехали послы к Оттону германскому, с грамотами поехали, скрепленными златыми печатями.

Принял их Оттон, выслушал, обещал архиепископа прислать.

«В лето от Воплощения Господня 959-е... Послы Елены, королевы ругов, крестившейся в Константинополе при императоре константинопольском, явившись к королю Оттону I, который вернулся во Франкфурт из похода против ободритов в октябре этого года, притворно, как выяснилось впоследствии, просили назначить их народу епископа и священников.

Король отпраздновал Рождество Господне во Франкфурте, где Либуций из обители св. Альбана посвящается в епископы народу ругов досто-

почтенным архиепископом Адальдагом» – так писано было в летописи Прюмского монастыря.

И далее: «Под 961 год Король отпраздновал Рождество Господне в Регенсбурге... Либуций, умер 15 февраля сего года. На должности его сменил, по совету и ходатайству архиепископа Вильгельма, Адальберт из обители святого Максимиана, который, хотя и ждал от архиепископа лучшего и ничем никогда перед ним не провинился, должен был отправиться на чужбину. С почестями назначив его епископом для народа ругов, благочестивейший король, по обыкновенному своему милосердию, снабдил его всем, в чем тот нуждался».

И прибыл архиепископ Адальберт к княгине Ольге, и беседу с ней имел.

Но вот незадача какая: ко времени тому русам намерения Оттона относительно Руси ясны и полны были и потому нужды ни в нем, ни в его деяниях особенной не ощущалось.

А вести себя стали гости заморские, словно бы они были хозяевами на земле русской – и Адальберт, и обслуга его, среди которой были и вои, вели себя шибко вольно, на беду свою.

Да и сам архиепископ слишком рано посчитал себя посланником не только короля Оттона, но и самого Господа Бога Иисуса Христа, во всем велелепии его. А разговоры он вел не только о божественной сути христовой, но и о делах весьма скромных – склонял бояр к принятию не только веры, но самого образа жизни германского, что вызвало поначалу недовольство среди

люда киянского глухое, а потом голос недовольных зазвучал уже во всю силу.

И пробыл архиепископ Адальберт во землях киявских только один год, после чего, по наущению Ольги, сын ее – князь Святослав – с архиепископом встречу имел и беседу, где и было ему заявлено, что Русь остается с верой отцов своих и не готова принять Христа во всем великолепии его.

«В том же году Адальберт, назначенный епископом к ругам, вернулся, не сумев преуспеть ни в чем из того, ради чего он был послан, и убедившись в тщетности своих усилий, поминая вероломство ругов – на обратном пути некоторые из его спутников были убиты, сам же он, после больших лишений, едва спасся» – так было писано – читай, еле ноги унес во всю прыть.

Но в происшествии том тщетно искали потом участие Святослава, либо Ольги – недостойное то дело было для фигур сих, к бесчестию не склонных, хотя дружинников князя Святослава можно было в том уличить, потому как уж сильно невзлюбили они и архиепископа Адальберта, и воинов его хвастливых, и всю эту братию его, полную презрения к люду киянскому – но только кто ж их в том уличать-то будет – дорога у архиепископа была долгая, дальняя да пыльная, места, особливо в приграничье, глухие, озорные, и воровских людей было там в изобилии – и всё лес да лес, а в дороге, вестимо, всякое сотвориться может.

«Да и пес с ним... трехголовый!» – так отвечал воевода Асмуд-кормилец на любой вопрос в

те времена, и относились ли эти его слова к тому, что с архиепископом приключилось – а людям его приключилось сгинуть без следа, пропасть пропадом – или вообще ни к чему не относилось – сие нам, сирым, неведомо.

На хазар

Бежало, бежало времечко-то – не меньше пяти годков пролетело. Силы Руси росли день ото дня, а вот Хазария слабеть стала – гниль во власти завелась, силы ее подтачивая – не устраивал каган хазарский свою знать – козни паршивые, черви упорные и ни такие троны на нет стачивали.

Долго ждала Русь того момента. Хазария, что твой паук, оплела все торговые пути с Востока в Русь – и соки все высасывала, да и набегами невольничьими разоряла Русь, уводя людей в полон, захватывая всё новые и новые земли – в низовьях Дона, к примеру, обосновались хазары прочно весьма.

А к люду хазарскому знать хазарская относилась всё хуже и хуже, хоть и верою в богов особо не бередили – верь в кого хочешь. Сама-то знать верила только в злато, но злато потом булат берет.

Святослав с дружиной малою набегами хазар тербил вельми – не понаслышке о нем знали – лютовал в приграничье. «Иду на вы!» – любимые слова – с ними он молодца к ним засылал, чтоб самому не гоняться за вражиной по степи да по полям-лесам, а чтоб ждали его, чтоб всей кучей собрать и чтоб всей этой кучей взять их.

В полную силу князь вошел – дружина почитала его за брата, за сына и за отца – обо всех радел.

Ходил он, как молодой пардус, барс – будто стелился над землей, был он среднего роста, но широк в груди и руками горазд был узлы из железных прутков вязать, носил усы, голову брил, кроме пряди волос.

Говорили, что и серьгу золотую имел в одном ухе, но мнится мне, что то славословье пустое – то ромеи про него измыслили – а они горазды на всякие диковинки.

К злату был равнодушен князь – то истинно, почитал только добры мечи, одежду и облачение имел простого воина, спал на земле, потник с коня подложив, а под голову – седло.

Перемещалась дружина скоро – кони запасные всегда под рукой имелись, обозы с собой не возили, всё оружие легкое – при себе. Ел князь и дружина его мясо с костра – конина, дичина завсегда случались – князь ел с дружиной – что она, то и он, а не ела дружина, то и князь не ел – легко голод мог перемочь и холод.

Дружинника не отпускали в бой, ежели нет у него сына. Вдовы дружинников и дети, оставшиеся сиротами, были на попечении князя. Мальчики поступали в дружину с трех лет – вдовы получали за них жалование, а ежели рождались девы, поступали они в услужение княгини Ольги, их и воинскому ремеслу обучали – лучницы были отменные.

У Святослава была самая сильная дружина, готовая биться за него хотя б и один к десяти – и они побеждали, часто казалось, вопреки мыслию здравому.

Привыкли хазары к набегам малым, не печалились шибко о крепостях своих, почитая их неприступными, чай ромейские зодчие их возводили – а зря не печалились, обманул их Святослав – крепости те нужны ему были.

А чтоб вышло всё, как задумал, со Свенельдом долго думу Святослав имел, каждый шаг выверяя.

Решал в дружине князь и Свенельд, но ежели простому дружиннику было что сказать – его всегда выслушают.

Печенегов, до злата падких, походом соблазнили, да и волжских булгар. Но сперва вятичей взяли: «Кому дань платите?» – «Хазарам! Одна деньга с сохи!» – «Людьми платите?» – «Платим и людьми!» – «Свобожу вас от этого. Мне платить будете и только деньгой! Со мной на них пойдете?» – «Пойдем!» – вот и договорились.

– Они с Дона ждут, – сказал Свенельд, – а мы зайдем с вятичей!

И зашли, как сказано.

Княгиня Ольга в Киеве осталась с внуками. Сказала Святославу, чтоб ей дружинников старых оставили.

– Мне дружинники нужны, чтоб стены оборонять – не оголяй стены. Оставишь мне дружины чуть, чтоб внуков обучали и не только их. И Добрыню оставишь – нужен он мне на стенах.

И оставили ей дружинников и Добрыню – за каждым внуком дядьку закрепили, для разумения, а Добрыню – за Володимиром.

– И девок мне обучите – луку, бою, на мечях, на ножах – всему. Все воями быть должны – не только мужи. Лишних нет. Сама прослежу.

И проследила – учились уму-разуму воинскому с утра и до поздней ночи – никто не жаловался, некому было жаловаться, княгиня с ними была от зари до зари.

А еще она купцов принимала, послов иноземных и посланцев от печенегов – те в поход со Святославом отправились, но и послов к Ольге послали – с дарами.

Дары Ольга приняла, опосля Кнута вызвала и сказала, чтоб глаз с печенегов не спускал – не по нраву ей визит пришелся.

– Холодно спине, – сказала она ему, – очень уж льстивы – не к добру. Чую, неспроста заявились, да по крепости всё бродили, головы задравши – укрепления оглядывают. Не верю им – нагрывают скоро.

– Святослав их за соратников почитает, – отвечал Кнут.

– То, что он почитает – растереть и забыть! Моё чутье материнское, от сердца – оно не обманет. Разнюхай всё. Всё я знать должна – что там в их чанах варится.

– Сделаю!

– И быстрее! Мы на хазар, а эти – в спину метят. Что Царьград? Спит и видит нас меж двух огней?

– То так!

– Вызнай всё. Времени нет. Не простит нам народ промашку.

И отец Григорий к княгине явился с жалобой – разоряют храмы. Отца Григория она приняла.

– Разор прекратим, – сказала она, – Но тебе – только молиться. Никого силком к Христу не тyani. Чем ты от епископа Оттона отличаешься, ежели силком народ в веру потащил? На вилы захотел? На тебя донос был. Насильно веру хочешь поменять? Не будет того. За единение я любого бога положу. Мне единство народа нужно. Не время.

– Когда же придет время Христа на Руси?

– Тогда, когда сам Христос решит – тогда и придет. Храмы строй – не препятствую. Молись – не мешаю, сама молюсь. Но на том – всё. И чтоб ни одной жалобы на тебя не слышала – услышу, мил не будешь.

– Князь не принял Христа, а раз не принял он, то время наступит нескоро.

То, что увидел отец Григорий на лице княгини, поразило его – ее глаза, то были глаза примиряющейся к прыжку тигрицы.

– Что ты знаешь о любви, отец святой? – заговорила она тихо, точно подбираясь к жертве, – О любви матери к своему дитя неразумному – милому, нежному, ласковому... или о любви Христа ко всему роду людскому – неблагодарному, вероломному? Что ты знаешь? Что известно тебе о боли материнской и о вдовьей доле... Что ты

вообще знаешь о боли? И что ты знаешь о муках тела и души, о бессонных ночах, о снах, в которых из раза в раз отымают твоё чадо, а оно при этом кричит диким криком, зовет тебя, простирает к тебе свои ручонки, о реках крови, что во снах тех льются без конца и без края... что знаешь ты?.. Не бери зло до времени, оно и так созреет – дай ему срок в сорок сороков... прочь с глаз моих!

И ушел отец Григорий, пятясь – не стоило ему говорить княгине то, что он сказал – то ясно было, как день деньской.

Ветер вольный, приди, наполни грудь молодецкую. Конь лихой, всхрапни и встань на дыбы – время твоё настало, понесешь ты всадничка своего безудержного в жаркие степи и на бой кровавый и правый!

Как мечом, рассек Святослав землю хазарскую. Никто не ожидал такой от него прыти. Сперва на лодьях шли от истоков, потом на коней пересели.

Под Итилем он был в один миг.

– Русичи! – вскричал князь Святослав перед своими воинами, – Пред вами тот, кто ярмом вечным висит на шее Руси любимой! Пред вами тот, кто топчет землю вашу, крадет ваш скот, уводит в полон ваших жен и детей! Пред вами Хазария! Долго ждали мы и – дождались! Отомстим же за землю поруганную! За малых! За сирых! За жен! За детей! На хазар хочу! На хазар! Крови и огня!

– На хазар! Крови и огня! – вскричали воины.

Каган Иосиф с воинством навстречу из крепости поспешил и не успел о том пожалеть – спер-

ва передний отряд русов перед ним явился – он решил, что отряд небольшой, но только навстречу двинулся, как со всех сторон окружен был конной лавою – грудь о грудь бились, копыта насквозь вскрывали и людей, и коней в свалке, жаркая рать была, злая, бились явственно, и с коней, сцепившись, падали под копыта, и они давили, и их давили под хрип дикий, и в рукопашной бились – мечами, ножами, руками, зубами грызлись – секли и секли русичи без устали – головы, ноги, руки летели во все стороны – лилась кровушка, остальные на охват пошли и добились.

Взяли крепость. Всех перебили в сей же миг – редкие утекли, с ними и каган Иосиф. Из крепости всё ценное достали, сложили в кучу и поделили – русы получили, и все, кто с ними пришли, получили тоже.

Князь сказал, чтоб долю ему выделили, не более, чем дружиннику самому простому, Свенельд поступил так же, на него глядячи, и о вдовах не забыли – Святослав о слове своем помнил.

Сожгли Итиль, как и велела Ольга – пепел по ветру.

Святослав и иную столицу взял так же – Семендел и все крепости, что рядом были, опосля развернулся к Дону и взял Саркел – Белую Вежу.

– Что теперь, матушка? – спросил Святослав Ольгу.

– Белую Вежу за нами оставишь – остальное брось, всего не удержишь, а Вежа нужна – крепость знатная, весь край держит. Хазар положили, проходы на Русь для купцов с Востока сделали, но всего сразу не переделать, да и Царьград

победами нашими скорыми насторожился весьма – жди дряни. Хазарской гадине голову снесли, но там, увидишь, три новые отрастут – еще внукам твоим хватит Итиль воевать.

– Царьграду мы нужны – мисяне с запада ропшут, а сарацины с юга в покое не оставят.

– И Рим не оставит – Папа желчью исходит и колотьем заходится знатным. Риму богатство Царьграда – что нож в глотку. Царьград хоть и подает себя ромеями, а говорит-то он на греческом – греки они и есть, хоть и полагают себя латинянами. А греки под Римом всегда были, как ни крути, а тут, вроде как, наоборот. Папа Римский лучше с Оттоном смируется – но Оттон сам вместо Папы сесть жаждет. Или Оттон с кесарем порвут Папу, или Папа разорвет Царьград с Оттоном. Веру в Христа они уже делят – вот и доделаются. Высокомерьем своим Царьград Папу дразнит. А зря – Папа-то терпелив – вылежит. Этот волк дождется часа своего – хоть бы и сотню лет ждать пришлось. Он Христа делить ни с кем не намерен – сам владеть хочет, у него Бог в личном радении быть должен.

– Что ж мы?

– Мы – сами по себе. Просторы схоронят. Реки – наши – никто не пройдет, а посуху путей они не знают. Пока переметчиков найдут, да проводников, да до нас доберутся – кони у них на дороге падут – не совладать им.

– А ежели печенегов переманят?

– Могут. Вот и смотри в оба, чтоб не сманили. Печенегов корысть сгубит – но она всех губит.

Перебьют они друг дружку, печенеги наши, к злату руки оттянув – и руки-то не оттянуть более чем на рост их, хоть как их тяни, и злато не было б златом, кабы горы его имелись. Подождем, пока кесарь тебя на мисян позовет – не в ладах они в последнее время, тогда и ясно будет, перекупил он печенегов нам во вред или нет еще.

К мисянам – именуемым болгарами – на Дунай

– Ежели взяли Вежу, то надо брать от ромеев и Корсунь – на пути лежит. Воев там ромейских мало, и до Царьграда за подмогой они не ускачут. Мы не возьмем Корсунь, так мисяне возьмут – давно они в ту сторону метят! – сказал Святослав.

– В Мисинии смута – им бы самим не развалиться! – отвечала Ольга, – Кнут, что к ромеям послан, весть прислал: Царьград рад, что хазар положили, но полного разора хазар не хотел бы – теперь нас опасается и за Корсунь с опаской думает – тамошние купцы у нас на погостах только делают, что ляссы точат без умолку о том, что под нами им жить сподручнее было б, чем под ромеями – эти за прибыток свой переметнутся хоть к кому – мать родную продадут, а простому люду всё одно – лишь бы гнет потише. Так что Корсунь всё одно возьмешь. Но ромеи нам посла шлют со златом – так Кнут сказал – на мисян хотят, чтоб ты шел.

– Что ответим?

– Посла дождемся – там видно будет. Поглядим на него.

Права была Ольга насчет тяжбы ромеев с мисянами.

Царь Симеон I Великий, было время, истребал Царьград весьма – погромил он ромеев со всех сторон, хотел и Царьград брать, но после – только данью его обложил.

Умер он неожиданно, к радости великой кесаря, и царем мисян стал сын его Петр Первый, что почти все земли, не им собранные, рассеял за правление своё, аки дым пустой, а когда явились послы от мисян к кесарю за данью, что ромеи Симеону еще платили, то были изгнаны они с позором великим – послов отхлестали по щекам и изгнали из дворца, как псов шелудивых.

Никифор Фока нрава спокойного был, слыл за человека сдержанного, но тут он вне себя стал – глаза навывкате, у рта пена темная, и пока с послами расправлялись, метался он по дворцу и вопил вне себя.

«Горе ромеям, – кричал василевс Никифор, – ежели они, обратившие силою необоримой в бегство врагов своих, должны платить подать за право дышать грязному и низкому, подлому скифскому племени! Не бывать тому!»

Он же обратился к отцу своему, кесарю Варде: «Возможно ли, что ты породил меня подлым рабом и скрыл от меня то? Возможно ли, чтоб я покорился нищему племени и платил им дань?!»

А перед тем, как избитых послов из дворца вышвырнуть, сказал он им слово: «Идите к своему вождю, покрытому паршой и грызущему сырую кожу, и скажите ему, что великий государь ромеев вскоре придет в его страну и отдаст

ему дань сполна, чтобы он, трижды клятый раб рожденный, научился именовать ромеев своими господами и не требовать с них дань, как с невольников».

Ромейская принцесса Мария, отданная в своё время за Петра Первого, скончалась, и теперь, слабость учуяв, ромеи стали готовиться к полному захвату Мисинии, дабы не пускать через нее орды угров, что нападали на Царьград – но того захвата не хотела Русь.

Никифор Фока собрал скорое войско и напал на мисян. Он легко взял приграничные крепости и углубился в страну, но потом понял, что гориста она весьма, и там легко потерять воинство, как иглу в потоке горном – ибо горы способны истолочь любые армии.

Решено было действовать иначе – на ум пришло использовать против мисян русов.

Ромеи, меж тем, велико преуспели в ратах с сарацинами. Воинство Царьграда под дланью братьев Никифора и Льва Фоки весьма поднаторели в битвах за критский Хардак – крепость была взята не без помощи русов, Крит стал ромейским, а заодно и море Эгейское. Затем взяли Киликию и Кипр.

Занявши престол, Никифор Фока укреплял своё войско тяжелыми всадниками в железах – катафрактариями – они-то сражения с сарацинами и решали.

Но сарацины были еще сильны. Сильны были и угры, и болгары тоже не положены были до конца ничком, потому и нужны были русы –

они положат болгар в руки Царьграда, а сами от битв тех ослабнут – и всё это за деньги невеликие – и на Корсунь засматриваться не будут, а ежели еще и печенегов перекупить да и хазар в живых оставить, то у Руси будет чем заняться на века вечные.

Всё это ясно было и Ольге, и Святославу, как день-деньской, но посла стоило выслушать – прибыл он пред очами светлыми и соловьем залился – не остановить – всё обещал да обещал: и злата, и власти над мисянами – чего только не сулил – разве что не трон в Царьграде – не останови его речь – пообещал бы и его.

Как, бишь, посла того кликали? Патрикей Калокир он звался – сын стратега Корсуня.

«Посланный по царской его воле к тавроскифам патрикий Калокир, муж пылкий во всех отношениях, пришедши в Скифию, понравился начальнику тавров, совратил его дарами, очаровал лестными речами (ведь всё скифское племя чрезвычайно корыстолюбиво, в высшей степени алчно, жадно к подаркам, падко на подкупы и даже любит самые обещания) и убедил идти против мисян с великою ратью» – так запишут ромеи в своих летописях.

Злата Калокир привез много – 15 кентинариев – это на вес быка, но по тем временам только на десять тысяч воев и хватило.

Хитрость Калокира на поверхности была – ни от Святослава, ни от Ольги не скрытая.

Калокир, влекомый вдохновением, разохотился, расхохлился, проговорившись о мечтаньях

своих на престол в Царьграде – его выслушали с великим вниманием.

Был и тайный сговор Калокира со Святославом, о коем немногие ведали. Калокир обещал чуть ли не всю казну Царьграда и все земли мисян, что князь возьмет, в обмен на помощь – очень он о престоле в Царьграде для себя печалился.

– Ромеи подлы, как никогда, обманут, – сказала Ольга, – ты за ворота, а они с печенегами договорятся – и те ударят в спину.

– Печенегов перекуплю.

– Всех не купишь.

– Удар нанесу быстрый – не успеют опомниться.

– Придется ударить, разгромить и отступить, оставив всё ромеям – они того и жаждут. Стоит ли то принесенного злата? Дружину положишь, а златом дружину не искупишь – люди всегда дороже.

– Ничего ромеям не отдам. Царьград за Корсунь отдает Дуная устье, Днестр и Переяславец – всё наше будет. С мисянами уговорюсь супротив ромеев. Разор чинить мисянам не будем – за мной пойдут на Царьград.

– Ой, ли! И надолго ли та верность? Коней мало, на лодьях пойдешь, оружие, положим, есть, а вои? Чьих возьмешь? Печенег да угры? А кто из них тебя же первым и бросит? Здесь клич кликать надо. Среди своих. Соберешь русов – иди. Но и мне на стенах дружину оставь – хотя бы и старцев. Оголять стены – не след! Наймитов первыми на болгар бросишь, своих береги. Гонцов нала-

дим – чтоб весть к тебе, ежели что, на крыльях летела. Дунай далеко даже от Корсуни, чего уж там про Кияв говорить.

– На лодьях быстро управимся.

Воев, что своей волей в поход собрались, набрали быстро, но не все они в науке воинской искусны были – так что учили денно и ночью, торопились.

Дружинники старшие, коим уж шесть десятков минуло, нарасхват шли – и молодежь учить, и на стенах княгине вспомогать – она все стены сама обходила каждый день со Свенельдом и без одного, во все вникала – будь то бойницы, либо прочность щитов, кольчуг или луки со стрелами – клевцы, топоры, булавы, копья да мечи – мечей особо не хватало – в кузне огонь никогда не угасал, работали мастера не покладая рук – давно они в великом множестве в Кияве осели стараньями Ольги-матушки.

Ольга сама в кузни ходила и с кузнецами разговор о мечах заводила.

Мечи – вот что Святославу и дружине его нужно было позарез – откуда их только не везли, а нужны были свои, добротные, и много.

Мастера бились долго, но харалужные клинки, пламенные, создали – слава всем богам!

Меч раскаленный, ухвативши, и на коня, и скакать по полю, пока не угас – так закаляли – да и как только не закаляли, всё было – добились, сделали мечи.

И про девок княгиня не забывала – зело они обучены были, каждая у пояса ножи имела –

не менее трех – и с луками управлялись шибко да ловко, а уж с ножами – с обеих рук, только и успевай отмахиваться – и с мечом, и с щитом ловки были, легки и скоры, без страха в сердце.

А в бою ближнем из лука с двух шагов стрелу в глаз всаживали и успевали новую приладить в одно мгновение, и ножи метали с двух шагов, в кадык метили и не промахивались.

Не всякий муж с девой щита встретиться в чистом поле готов был – без головы б остался легче легкого – поляницы неударжимые в делах ратных весьма искусны были, отчаяния полные.

На Руси и варяги были – и вои, и голь перекатная – но вот в чем заковыка: кто бы не пришел на Русь, тот в сей же миг очарован ею будет, околдован и в плен взят на веки вечные, и сыном ее станет, названным, и биться за нее будет ни на жизнь, а на смерть.

Почему так?

То есть великая тайна земли русов.

Ольга успевала и послов принимать, и купцов, и посадских – каждый к ней обратиться мог со своей бедой, никому не отказывала в слове – тем и крепился союз русичей.

А купцов-то варяжских Ольга давно уж отвадила и на своих купцов сменила – псковичи первыми в дело пошли – и ремесла подняла необозримо высоко. Таковую посуду, как у мастеров киевских, никто никогда не видывал – одних только чаш, горшков да кувшинов расписных было о ста сортов и поболее – на любой вкус – что тебе тончайший, что тебе крепчайший – хоть об стену бей.

А ткани? Таких тканей нигде не было, своё делали – про серьги, кольца да ожерелья жемчужные уж и вовсе разговора нет – всё-то первейшего качества, на показ – любая дева, пусть и чернавка, кокошник, жемчугами украшенный имела, жемчугами шею огружала в любой час.

И княжичей Ольга не забывала – на всех встречах они с ней были, вот только слово им никто не давал – поди, не доросли еще – потом могли спросить ее – что да как – так и учились править.

Послы опосля, промеж себя, говаривали, что княгиня видит людей насквозь – только подумал солгать, а ей про то уж известно, а лгать – себе дороже, ничего она не забывает – всё припомнит.

– Князь должен уметь слушать, – говорила Ольга княжичам, – и видеть то, что другие не видят.

А дядькам наказала, чтоб никогда не щадили княжичей в науке воинской, потому как щадить – порчу наводить.

– И чтоб начали с простых дружинничков – ни в чем не отличать – на земле спать, с ножа есть, и чтоб без дела ни одного не видала.

И было для них дело – не переделать.

Воев загоняли игрищами – а как иначе – старики-дружинники молодь да недорослей никогда не жалели – смерть, поди, тоже не пожалеет зелень необученную – синяки да тумак – привыкай, в бою нещадном и не так накормят.

– Ноги режь! – кричали им.

На то и целили. А ноги для рати – первое дело, потому и щитом долгим прикрывались, а на ноги вражь в ближнем бою первый выпад.

Сами же русы держались на ногах крепко – смолоду обучены были за землю свою цепляться.

А уронил супротивничка наземь – не добивай, вперед иди, роняй иного – а этого добьют без тебя – так учили.

Патрикею Калокиру показали, как дружину готовят – пуцай поглядит, всё одно всё не выследит, а на мисян его с собой возьмут – все проходы он там знает – живал в тех местах.

– Ишь, старается, во все вникает – умный, видать! – говорили про него дружинники, усмехаясь.

Очень его вои удивили, но особенно – девы – от одного взгляда их очей ясных чресла нытьём наполнились, а по спине ручеек холодный бежал.

– Что с походом? – вопрошала княгиня Ольга у волхва, – Что видишь? Каково будущее?

– Победа – вопреки всему, – отвечивал волхв. – С одного удара. Там не только мисяне будут, к ним на подмогу и косоги, и ясы, и хазары, недобитые князем, придут. Ударит он так, что ошметья полетят во все стороны, так ударит, что его запомнят. Доспехи о доспехи, мечи о мечи, щиты от удара разлетятся – до судороги в руках. Зубы стиснутся так, что начнут крошиться – такая будет битва. Мисяне уже не те, они поделились. Часть ждет прихода Святослава, как и говорено было, а часть выступит ему навстречу с мечами – эти за союз с ромеями, и не ведают они пока, что ромеи никакого союза не терпят – только покорность рабскую. Но вожди их давно предательством тешатся и тем

сытятся – переметнутся в любой миг, побросав народ свой, так что и от Святослава мисяне тоже отвернутся – подлы суть есть, ужель как подлы. Возьмет он Переяславец и еще немало городов по Дунаю.

– Пустое то?

– Пустое. Но князя не отговорить – горяч. И пока ты жива, с головы его волос не падет – мать над ним крылья свои простерла – нет лучше защиты. Каким богам мать за дитя своё молится?

– Любым!

– Верное. Любым. Потому как мать. А богов-то несметная тьма-тьмушая непроглядная, и все-то они в один лик сливаются в один миг, чтобы снова потом разбежаться по разным капищам, но вскричит уверовавший: «Един Бог Всемогущий!» – и будет он прав. Тот Бог на твоей стороне, княгиня. Он всегда на стороне матери.

– Хочу, чтоб ты с сыном шел – нужда в тебе там.

– Пойду, ежели велишь. Но вот только не слышит он никого, кроме тебя.

– И меня не слышит.

– Слышит, хоть и бычится. Любит он тебя, свою мать – то и худому видать. Оставь свою печаль. Мы то, что мы думаем. Думаешь о смерти – и придет смерть. Думаешь о жизни – придет жизнь. Думай о жизни, не надо печали.

– Думаю.

– Вот и славненько. Схожу я с князем на Дунай. Скажи ему, чтоб знака моего ждал на атаку. Как скажу – так пусть и атакует мисян, не ранее.

И сказала Ольга Святославу о волхве, и пошел он с князем на Дунай.

И случилось всё так, как и сказал волхв – взял Святослав Переяславец.

Долго шли они на лодьях числом более трехсот, вои смотрели на берег во все глаза – печенеги конные да угры берегом шли.

И сошлись у Днестра, где мисяне, хазары, косоги и ясы в великой силе Святослава ожидали, не желая пускать через Днестр, но перехитрил их князь – вверх по Днестру перешел, а там и угры с печенегами подоспели – зашел князь там, где его не ждали.

– Пора, князь! – сказал волхв.

– Пора, други! Это те, что хазар от нас прикрыли! – вскричал Святослав.

– Пора! – вскричали вои, причалили лодьи к берегу, и выпрыгнули вои за борт – щиты в дол, копья наперевес.

А на берегу их вороги в великом смятении ожидали – собрал царь мисян Петр воинство несметное – трижды оно превышало воинство Святослава – но только числом, но не духом – необоримое духом воинство русов было, смеясь шли в бой, как на радость – стеной встали, выстроив ее тотчас, а потом и пошли стеной той, да и побежали после, приняв с треском в щиты стрелы вострые.

А стена есть построение воинское о восьми иль десяти рядов плотных, конница с флангов прикрывает, легкие лучники впереди пляшут – как отпляшут, так и скроются – пропустит их стена.

А в стене главное то, кто в первом ряду стоял, могли по команде вторым рядом смениться – уйти в глубь стены на отдых. То бишь, в стене первый ряд всегда свежим бился, оттого и бился он весьма как зло.

Стеной ударили так, что порвали строй врагов – и пошла сеча злая – кровь, кровь, кровь ручейком, да и реченькой – рать близости таковой, что в пору ножами резаться, руками рваться, да зубами грызться, нежели мечами – не взмахнуть, не охнуть, только рык да визг.

Сломили русы мисян – потеснились те, опрокинулись, а там и побежали – добивать их бросились – вой стоял великий, земля гудела, многих побили.

И укрылись мисяне в крепости Дористоле, и сидели там за семью замками, яко мыши, носы свои не высовывая.

А с царем мисян Петром, мужем боголюбивым и благочестивым, от одного бегства воинства его бесславного да от огорчения по поводу сему сильного, припадок эпилептический приключился тот же час – упал и не встал – и вскоре, от кручины той погибельной, и вовсе отошел он в мир иной.

И брань лютая, и крики умирающих стихли, и земля приняла тела павших.

Сел князь Святослав на Дунае. В Переяславце сел и дань с греков стал брать.

А Преслав Малый – что в устье Дуная – более всего подошел Святославу – стерег он пути торговые и варягов, и мисян.

Василевс царьградский Никифор посчитал, что Святослав пограбит в тех местах, да и уйдет, а тот остался и никому из мисян окрестных разорения не нанес.

Поняв, что он просчитался, решил василевс мисян ублажить и на свою сторону переманить, напомнив им о вере единой, истинной, о Христе, о верности и всём таком этаком, для чего посольство к ним наладил с патрикеем Никифором, прозванным за суть его Эротиком, и епископом Филофеем – оба искусны были в науке и убеждать, и ублажать.

Мисяне с радостью восприняли примирение и послали ромеям спрошенных ими девиц царского рода-племени, дабы выдать их замуж за сыновей василевса Романа, и еще прислали они сыновей царя Петра – Бориса и Романа – в качестве заложников сей доброй воли и дружбы верной да вечной. Девиц же посадили в крытые повозки (девицы подобной знатности у мисян перемещаются только на повозках – не обучены были иному) и отправили их василевсу, умоляя прийти им на помощь, отвортив от них секиру Святослава лютого.

Но Никифор Фока, благочестивый, деятельный, бдительный и предусмотрительный, предпочел иной путь – он подкупил печенегов диких и те пришли под стены Киява большой ордой под 968 год.

Предательство-то, ведомо, от зла идет, а одно зло со злом другим всё одно сойтись должно – пожрав всё, что их питало.

Под стенами Киява

– Печенеги идут! Уж скоро под стенами будут! – доложили дозорные Ольге, коней измотав.

Она сейчас же была на стенах, велела закрыть ворота, выставить лучников.

Ольга призвала Кнута.

– Быстрее ветра! Гонцов к Святославу столько, сколько можно! Хоть один прорваться должен!

– Десять пошлем! Печенегами прикинутся! – ответствовал Кнут, – Я и сам поеду, чтоб надежней было!

– Нет! Ты нужен мне здесь!

– Как прикажет княгиня!

– Гонцам в путь!

И вылетели гонцы за ворота под носом у печенегов – помоги им боги бессмертные невредимыми остаться.

Кони, кони, словно вихрь степной, понесли гонцов, потому как погоня за ними наладилась тотчас же – стрелами осыпали в спину, многих положили.

Но один до Святослава таки долетел.

– Кияв! – вскричал он, задохнувшись, – Печенеги! Княгиня!..

Святослав выступил немедленно, оставив в Переяславце воеводу Волка со товарищами.

Мисяне, как только Святослав отбыл, в сей же миг Переяславец обложили со всех сторон – сил у Волка маловато было, в крепости он заперся – припасы быстро сошли на нет – ропот в народе крепостном пошел, и решил Волк выйти на Русь,

но выйти хитростью, потому как в поле и на Дунае мисяне стерегли его крепенько.

Велел он тайно лодьи готовить на берегу, а сам разгласил, что стоять будет в крепости до самого что ни на есть конца – до последнего воя, Святослава ожидаючи.

Коней велел порезать, мясо иссушить, а сам ночью град поджег во многих местах, и пока мясене округ бегали, всполмошенные, на лодьи сел и отбыл, и на той стороне реки мясянские лодьи побрал, так что погони за ним не было – не на чем было идти.

Догнал Волк Святослава и вместе с ним на Киев двинулся.

Мать сыра-земля, от тебя дух к человеку поднимается и душу бередит, и не можно противиться тебе – вошла ты в плоть и кровь сынам и дочерям твоим от самого что ни на есть рождения.

Спроси ты их: отчего стоят они за тебя, живота своего не щадя, и не ответят они, потому как не думали об том никогда, потому как, за землю свою стоять, есть такая же суть человечья, как и воздухом над ней дышать.

Так кто же велит им взять меч и биться от зари до зари? Да никто – говорим же, никто – только земля, и человек бьется, о смерти не думая, и жизнь не поминая – только лишь Бог с ним всегда.

Он и один бьется, в окружении врагов свирепых, иль плечом к плечу бьется с побратимами своими – раз родимая земля его позвала – то земля возопила, и месть за себя тоже сама земля

требует, потому как слово-то «месть» от места – то бишь, от той самой землицы теплой и идет, а значит, как тому воспротивиться – да никак.

Пришел враг, топчет он твою вотчину – молча все за топоры берутся, булавы да стрелы налаживают и всяк встанет на поле бранном – и князь, и простолюдин – смерти ведь всё едино, а уж земле-то и подавно.

Русь, родная, мать наша. Мать может и не убрана быть, космата и горбата, но она – мать. Сын о матери может и печалиться, и обиду на нее держать, но стоит только кому-то обидеть мать, как он в глотку вцепится всенепременно.

На стены! На стены! Сну теперь не бывать, раз враг у стен твоих.

На стенах Киява Ольга-княгиня без сна с внуками своими и дружиною.

На стену, русы!

Отразили первый наскок – сколько ж их еще будет!

Где князь?!!

Князь, услышь мольбы народа своего!

Печенегі плотно встали – от воды и еды отрезали.

«И осадили печенегі город силой великой: было их без числа вкруг города, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать, и изнемогли люди от голода и жажды. И собрались люди противоположной стороны Днепра в лодьях, и стояли на том берегу, и нельзя было никому из них пробраться в Киев, ни из города к ним. И стали тужить люди в городе...» – так писано в повести.

Еда еще была в Кияве, но вода быстро кончилась – жажда томила. Ропот в народе пошел: «Князь наш чужие земли воюет, а свою отстоять не может. Пусть княгиня сдаст Кияв печенегам! Пусть выйдет к ним сама с внуками!»

И княгиня призвала Кнута.

– Воды три дня как нет! Люди мрут от жажды! Что делать?

– Искать героя! – сказал Кнут с поклоном.

– Героя?..

И герой был найден – Русь этим богата.

Кнут нашел героя.

Дружина частью на той стороне Днепра осталась – всё-то на месте топталась, малым числом.

Надо бы призвать дружину к долгу-то.

А кто ее призовет? Клич бросили – отозвался один отрок. Он по-печенежски ведал весьма – кликал, как на родном.

С пленниками печенежскими, что в крепости сидели, переговорил он, спросил одежду печенежскую – в обмен с деньгой – и дали ему одежду за монету.

У того же печенега узнал он, как в плен его брали – коня тот потерял, ходил с уздечкой да и спрашивал у всех, не видал ли кто коня его доброго – так на лазутчиков русов и напоролся – взяли его.

Переоделся отрок печенегом, спустили его под вечер со стены. Стал он ходить с уздечкой от костра печенежского к костру и спрашивать, не видал ли кто коня его – потерялся конь.

Ничего никто не заподозрил, а он к Днепру подобрался, одежды скинул, да и бросился в воду – плыть стал. Вот тогда печенеги и спохватились – стали стрелы ему вдогонку слать – да только он уже был далече.

На том берегу заприметили его – на лодью приняли, до берега доставили, и сказал он, что ежели помощь не придет, то сдадут Кияв печенегам – княгиня сама откроет ворота, дабы людей не тронули.

И решил воевода Претич поутру идти на помощь Кияву, прорваться и хотя бы вывезти княгиню с внуками, а не то Святослав потом в ярости слепой положит всех и вся.

Ранним утром села дружина в лодьи и, трубя в трубы, пошла на правый берег Днепра, и закричали жители Киява от радости.

Печенеги, заслышав трубы звонкие, полагая, что пришел Святослав, бежали от стен – вышла Ольга с внуками навстречу воеводе Претичу и дружине.

Хан печенежский, увидев, что сама княгиня встречает воинов на берегу, испросил встречу с князем пришедшим, для чего воротился он один к Кияву, подошел к воеводе Претичу и спросил его: «Кто пришел сейчас?»

И тот отвечал ему с достоинством: «Люди той стороны пришли на помощь Кияву».

И тут печенежский хан спросил еще, томимый желанием всё разузнать: «А не ты ли князь Святослав и есть?»

И Претич отвечал ему: «Я муж его, пришел я с первыми, а за мною идут воины и сам Святослав, и нет им числа, они, что ветер буйный – неудержимы – и идут они, и придут вскорости, и всё сметут на пути своем, и нет им ни в чем супротиву!»

И смутился хан печенежский духом своим и сказал он Претичу: «Будь же мне другом и не будет меж нами вражды кровной!»

И ответил тот: «Да будет так». И подали они друг другу руки, и одарил печенежский хан Претича своим конем, саблей и стрелами, а тот же отдал ему свою кольчугу, щит и меч.

И отступили печенеги от города, но ушли они недалеко – встали печенеги на Лыбеди и встали так, что не можно было коня напоить.

Выходит, обманул хан печенежский русов в дружбе своей?

Выходит, что обманул.

Но недолго печенеги тем тешились, налетел Святослав, как и говорил им Претич, что клыкастый вепрь раззадоренный, крови легкой жаждущий, как змий стоглавый налетел – пришла его конница, и был князь на коне впереди всех на двадцать локтей.

И со всего маху ударил он в племя печенежское, отбросив его к реке, но с реки во время то подошел на лодьях воевода Волк – бросились воины его в волны, не дожидаясь, пока лодьи носами в берег ткнутся, да и побежали, разрывая воду, на берег и приняли на себя бой смертный.

Никого не щадил Святослав. Меч в руках его порхал на манер легкого мотылька – бабочки, что

крыльями своими, трепетом да блеском, людей сманивает, дурманя и уводя их из мира живых в мир мертвых.

Копья с удара вскрывали грудины крепкие, стрелы о стрелы бились, кони бились о кони, и, падая с коней, бились люди, сцепившись, до смерти.

Ничего не видели воины Святослава в ярости своей белой пред собой – ничего – окромя вражины подлой и шли по телам, чтоб живых затоптать немедля.

Бой до глубокой ночи шел, и впотьмах сражались – немногие печенеги уйти смогли, коней побросав. Святослав тогда много коней взял и обозу, перебив всех обозников – и жен, и старцев, и малых детушек – так опосля печенеги вспоминали то.

А что скажут про то русы?

А русы скажут, что прежде, чем идти на Русь, супротивничек не о злате подлом должен печалиться, а о слове своём, что нарушил, и о детях своих мыслить должен, чтобы род его мог продолжиться, а не угаснуть, аки свеча, что задули чужие походя.

Назад, на Дунай!

– Не люблю мне сидеть в Кияве! – говорил Ольге Святослав, – на Дунае хочу сидеть – к битвам ближе.

– Чем тебе здесь не битвы? Кто здесь будет? – вопрошала Ольга.

– Сынов предостаточно. Выбирай любого.
Ярополк первый – ему и сидеть.

– Мал. Не обучен.

– Это я был мал.

– У тебя была я!

– И у него ты есть! Отпусти на Дунай!

Разговоры эти уж третий месяц шли, как Святослав от печенегов Кияв избавил. На Дунай он рвался – никакого удержу. Всю душу матери измотал.

В отчаянии призвала она волхва.

– Что мне делать? Что видишь? Говори!

– Долго не удержишь Святослава, княгиня.

– Знаю. Силы б взять.

– Сил твоих на твой срок хватит.

– А долог ли срок? – обронила княгиня, потом осеклась и посмотрела волхву прямо в очи.

Волхв глянул на нее мельком, долу взгляд послал и не ответил – она поняла.

– Век мой измерен? Так? Сколько осталось?
Не бойся. Говори.

– Столько, сколько дева дитя в себе носит.

– Что потом?

– Потом три дня у тебя будет для проводов.
Я рядом буду. Я задержу Святослава на то время тем, что не готов он к походу на Дунай.

– На кого его оставляю? Кнут верен, но одного Кнута мало. Свенельд? Ты? На кого?

– Горяч князь Святослав. Нет того, кто осадит его. Без тебя недолг век его будет.

– Знаю. А что до дела?

– Дело твое не пропадет, хоть внуки твои и молоды – наломают они дров.

– Хоть один из них останется?

– Будет тебе один.

– Что Свенельд? Верен ли?

– Верен, княгиня. Но время его уходит. Сыны, княгиня, не только силу и надежду дают, но они же их и забирают. Золото, власть – пустота всё это, знаешь ты. Шапку князя Ольга хочет Свенельд на себя примерить. Сомнения и муки, княгиня, гнетут его – они же его и съедят, не сегодня, но съедят. Не по нему шапка – утонет он в ней. Душу только изведет понапрасну. Сыны столкнутся с сынами, отцов потеснив.

– Загадками говоришь.

– Я много сказал, княгиня, чего и не должен был. Будь покойна, у нас есть времени столько, сколько сказано. Много Боги тебе дали, княгиня, но много и спросили. Я рядом и с тобой, и с князем. Придет моё время, и я уйду. Смотри вперед гордо, великая мать – ты всегда горда, тем богам и мила – иначе б не жить тебе ни единого дня.

Убедить Святослава в том, что выступать на Дунай дружина должна в полной силе, а не собирать силу по пути своём, было делом нетрудным – холодная голова залог правильных дум. Волхв убедил князя – звезды сказали остыть ему, все князья слушали звезды.

Чуяла ли Ольга, княгиня, закат свой или же волхв ее к тому подтолкнул?

В сказаниях земли сказано, что чуюла – много сил на последней осаде печенегов оставлено на стенах ею было.

Скажут, что шла она по жизни покуда замертво не пала – то тоже будет верно. Холод всё чаще охватывал ее при мысли о сыне – гнала она мысли сии. Никто ее слез видеть не должен был – и не видел.

А что боль в груди нарастала, так то материнской болью считалось – улыбаться ей следовало. Еще пуще пыталась любовью во взгляде и внуков, и сына своего одаривать – вот только не привыкли они к таким взглядам, да и видели ли они их, а ежели и видели, то понимали ли – кто же про то ведает.

Был призван Кнут.

– На Дунай пойдешь. Знать хочу насчет мисян всё. Есть в них надежда на князя Святослава, или той надежде вырасти не на чем? Узнай всё, без прикрас. Не верю в успех похода, но ты должен подтвердить то словом верным, чтоб любой понял – пустое.

– Сколько мне на то дадено?

– Полгода, не более.

– Еду.

– Не мешкай! Я жду!

И тронулся Кнут в путь, не мешкая, а княгиня вслед ему глядела, и мысли черные от себя гнала с усердием.

Грусть-тоска душу снедала поедом, будто свила она давно в ней своё гнездышко.

А вокруг жизнь кипела – дружина к рати готовилась, походом жила – скоро двигалась, суеты чуждая.

Старые вои, кровью мытые ни раз и ни два, тех, кто впервые шел, опекали с пристрастием – без пощады и слабину – и всё-то было, как всегда, да не всё.

Княгинюшка наша вроде бы и не замечала ничего округ и печали тихой полна была, точно открылась ей иная даль и словно хотела она видеть то, что за далью той дали крылось – нет-нет, да и вздохнет, скрытой думы полна.

Руси свет лучезарный распростёрся над Киявом, и всякий миг смысла полон был – скрытый для люда, правителям распахнутый – Святослав к мести ромеям духом стремился – неотвратимо то, потому как печенегов к Кияву они привели за злато, что ясно было, как день-деньской – а Святослав ничего не забыл.

В кои времена воротился Кнут, и узнала княгиня, что права она была – изменились мисяне, переметнулись они к ромеям и ожидают теперь Святослава, дабы погубить и его, и дружину.

– Завтра же иду на них! Гонцов пошлю, чтоб ждали! Огнем и мечом пройду по злобной нечисти – вычищу это змеиное отродье, никого не оставлю! Пустынь возведу!

«И рече Святослав к матери своей и к бояром своим: «Не любо ми есть в Кияве быти, хощю жити в Переяславци на Дунаи, яко то есть середина земли моей, яко ту вся благая сходятся: отъ Грекъ злато,

паволоки, вина и овощие разнообразные, из Чех же, из Угорь серебро и комони, из Руси же скоро и воск, медь и челядь» – так в летописе сказано.

Нехорошо вдруг стало княгинюшке, пошатнулась она, ухватившись за сердце – в покои ее отвели.

Призвала она Святослава и сказала:

– Плоха я. Погоди три дня – потом иди, куда хочешь!

Закручинился князь, сам не свой стал. Привык он к тому, что мать его, словно бы из стали булатной скована – смятение охватило его великое – места себе не находил.

На утро призвала она его и сказала:

– Умру я.

– Матушка...

– Молчи, пока в силах я говорить, скажу: всю жизнь любила тебя, только тебя, дитя ты моё ненаглядное, несмышлениш ты мой дивный. Всё округ – это ради тебя одного, свет очей моих ясный.

Ты – гордость моя, радость моя, жизнь моя, мой оплот верный, моя кровинушка, тело моё. Русь моя в тебе в одном для меня сошлась. Только в тебе она и есть. Ты и есть для меня Русь – земля-моя-матушка. Чудный мой ты ребенок, птенчик мой теплый, и никто не знает тебя лучше меня, дыхание твоё слышу, пью его, вижу тебя – то счастье моё. Мы с отцом твоим на тебя наглядеться не могли, нарадоваться – денно и ночью – но недолго то. Отняли они у меня отца твоего – душу они мне вынули. Хорошо, хоть Бог не дал им отнять у меня и тебя. Гордился б тобой

отец твой, как и я горжусь. Рада я, что раньше тебя ухожу. Нет для матери горше мученья, чем дитя своё хоронить. Вдовья доля самая тяжкая – помни то. Не бросай вдов и народ с тобой будет всегда. Не бросай детушек малых, не бросай свою дружинишку – последнего хвораго на себе тащи что есть сил с брани, вой, зубами скрепи, а тащи, не бросай. То люд твой, народ твой, братья твои и дети. Теряешь землю свою – тело своё на куски рвешь, теряешь людей – душу свою рвешь. Знаю, что ты у меня во всём правый, сама я такая, потому и любим ты людом своим – то цена великая. Будь искренен – и обласкан будешь богами. А теперь иди – тризны не твори, чернец отмолит всё. Внуков пришли – прощаться буду.

И пришли внуки, и прощались они.

И молилась княгиня Ольга два дня, а потом отошла она.

И плач по ней стоял по всей земле на многие лета.

Вот и подошла к концу, братия, повесть наша об Ольге, о княгинюшке, что при жизни своей умом славилась, а уж по смерти ее чего только люди про нее не напридумывали.

Злые за ведьму ее почитали, добрые – за мать для всего народа.

Говаривали в народе, что чуяла она дурных людей и всё дурное от них за версту и поболее, что могла она пустыми руками отвести беду любую и погибель лютую от земли и воды, что могла она наслать достаток и процветание, и тем была мила она люду темному, что стояла она на страже гра-

ниц своих, небес и любого земле разорения, что враги ее в черных воронов обращались всякий раз, как порчу на люд ее навести возжелали.

Поговаривали, что знала она про всё наперед, и от того ум ее страх внушал великий не только злодеям подлым иных земель, но и своим же простолюдинам, кои козни темные в душе своей сотворяли – всё ей ведомо было, и плохо от нее было тем, кто в мыслях своих нечист был.

Говорили о ней, что она из простых людей, худа родом, а правила Рюриковичами, потому как больно уж хитра была – но от черной зависти то – позабыть ее знать хотела бы, да вот только люди не дали того.

Жива была в памяти народной молва о ней – святой-то давно ее почитали – еще со времен внуков ее, что исцеление дарила она от любых хворей.

Так что память о ней всё больше в простом народе жила, чем во знати, потому как знать своей-то ее никогда и не почитала – пугались знатные люди близости ее к простому люду – любой мог с ней бедой поделиться и любому слово у нее находилось – такая молва о ней шла, как и то, что не скопила она никаких сокровищ-богатств да жемчугов несметных ни себе, ни потомкам своим, а за сокровище при жизни своей почитала она одну только неистребимую любовь людскую да и страну свою – Русь.

Любите ли вы Русь, братия? А то как же – скажет вам тут любой – но там и восторг, и тепло, и печаль, и боль, негодование, опять боль, опять печаль, тепло, и опять восторг – так-то.

ПОД НЕБОМ ЯНВАРЯ

Сонет

Как величаво небо в час
ночной!
На чёрном лаке – звёзд густые
росы,
И Млечный Путь, как сахарная
россыпь,
Белеет над долиною речной.

Искрится на стекле узор
резной,
Исполненный искусником
морозом,
Причудливые снежные наносы
Тревожат взор больничной
белизной.

Живёт всегда, в любое время
года,
Своею жизнью тайною природа
Нам, покорителям, наперекор...

Она неодолима и бессмертна,
А наша жизнь мгновенна и
бесследна,
Как полночь прочертивший
метеор.

**Иван
АКСЁНОВ**

Поэзия



МАЯК ПОЭЗИИ

Сонет

Маяк поэзии своим отрадным светом
Мне озаряет путь в угрюмой тьме ночей.
Теплом его живых, ласкающих лучей
Весь долгий век была душа моя согрета.

Я никогда себя не называл поэтом,
Хоть воспевал в стихах бесценный свет очей,
И трели соловья, и хриплый крик грачей
Пытался заключить я в строгий строй сонета.

Была бы жизнь моя отчаянно-пуста,
Когда б не Анненский, не Блок, не
Мандельштам...
Читаю их стихи – и в сердце сладко льётся

Кастальского ключа хрустальная струя,
И меркнет рядом с их поэзией моя,
Как огонёк свечи при ярком свете солнца.

ВЕРБЫ

Сонет

Старухи вербы на пустынном берегу...
В ветвях взъерошенных по-волчьи ветер воеет,
И волны яростно нависший берег роют,
И в небе толпы туч панически бегут.

Тот давний хмурый день забыть я не могу –
Мольберт мой шаткий под крутой горою,

Среди пожухлых трав и дождевых промоин –
И ветра стылого неистовый разгул.

Уж сорок лет прошло. Я сам, как вербы, стар,
Измотан бедами, мучительно устал,
Громила-век давно мечты мои порушил.

Но вопреки всему кривые вербы те
Стоят, как прежде, на тугом льняном холсте
И тихой памятью о прошлом греют душу.

СВИДАНИЕ

Сонет

Коровкою божьей вползает на небо луна.
Колючие звёзды на сером холсте проступают,
А воздух прохладой нам юные лица ласкает,
И в сердце моём безраздельно царишь ты одна.

В весеннюю полночь лягушечьих трелей полна
Облитая лунным сияньем долина речная,
Да коротко вскрикнет какая-то птица ночная,
Как будто внезапно гитарная лопнет струна.

С тобой у реки мы пробудем опять до рассвета...
Но ты не страшишься досужей соседской молвы,
Ревнивых упрёков парней и отцовских запретов.

И тускло мерцает от бледного лунного света
У тени, простёртой на ложе росистой травы,
Серебряный нимб вкрут кудрявой твоей головы.

ПРЕДЗИМЬЕ

Густая синька туч над сыростью земли,
Неясный сонный свет усталой поздней осени.
Свой кружевной наряд уже рябины сбросили,
И журавлиный стон давно угас вдали.

Вечерний хриплый грай шального воронья.
Дремотный воздух чист. Прозрачно-сини дали.
Безрадостные дни для нас теперь настали –
Пора предзимнего глухого бытия.

Мне ветер по ночам в ветвях играет скерцо,
В усталой голове гудят колокола.
Мысль горькая о том, что жизнь уже прошла,
Колючим сквозняком пронизывает сердце.

Но скоро желоба заплачут под дождём,
И выметет метель душевное смятенье.
И я тогда скажу спасибо Провиденью
За то, что мы с тобой пока ещё живём.

ЕЩЁ ОДНА ВЕСНА

Весна пришла опять. До верхних этажей
Акации горят огнём молочно-белым.
Небесную лазурь, подобно чёрным стрелам,
Пронзают стайки юркие стрижей.

Волшебная весна! Уже отцвёл наш сад,
В нём птицы гнёзда вьют, забыв свои забавы,
А скоро под косой падут густые травы,
И жёстко зазвучит железный звон цикад.

И вопреки тому, что пошлость, ложь и зло
Несчастную страну за горло цепко взяли,
Так хочется забыть обиды и печали
И жить, как в юности, отрадно и светло.

НОЧНАЯ БУРЯ

Ветер с цепи сорвался, будто бык разъярённый,
Мёртвые листья с асфальта сметая упругой
метлюю.
В голых ветвях деревьев слышатся дикие стоны,
Злобно труба печная отзывается волчьим воем.

Тучи осенней ночью мчатся буйной толпой,
И в круговерти ветра деревьям некуда деться.
Шум в голове усталой подобен морскому
прибою.
Льётся печаль холодной струей в моё сердце.

Мне не даёт покоя горечь утрат жестоких.
Призраки солнц угасших, что согревали душу,
Память мою тревожат, замки надежды рушат,
Мне оставляя только эти скорбные строки.

ПОЛДЕНЬ

В лазури неба нет ни облака,
Но зной полуденный не в тягость.
Пахучим краснобоким яблоком
Неслышно назревает август.

И кажется: весь мир погубят
Потоки ультрафиолета.

Бесстыдным поцелуем лето
Сухие обжигает губы.

Трещат цикады неустанно,
И в этом диком ералаше
Туманит голову дурманный,
Медовый аромат ромашек.

Степь колыханьем трав несмятых
С безбрежным океаном схожа...
И пахнет чабрецом и мятой
Твоя оливковая кожа.

Паруса облаков над землёй, разомлевшей от
зноя,
Так лениво плывут. Сединой серебрится ковыль.
Как отрадно идти неширокой дорогой степною,
Загребая босыми ногами горячую пыль!

Стрекотанье кузнечиков так оглушительно-
звонко,
Словно в кузнице дымной цыгане подковы куют.
От горячего пота прилипла к спине рубашонка,
Но зовёт отдохнуть карагач в свой тенистый уют.

Это скудное детство и это роскошное лето
Утомлённое сердце влекут к себе, словно магнит.
И, хоть жизнь на исходе и многое кануло в Лету,
Те далёкие дни благодарная память хранит.

ПЕРСИК

Моё лицо сжигал полдневный зной.
В халате пёстром, в старых шароварах
Бродил я по орущему базару,
Полуголодный, смуглый и босой.

Ишачьи крики, ржание коней,
Дувалы из растрескавшейся глины...
И вдруг две чёрно-жгучие маслины
Сверкнули из-под сросшихся бровей.

Торговцев ражих исступлённый гам,
Дым анаши, горячей пыли клубы...
Я лишь вздохнул, но розовые губы
В ответ прошелестели мне: «Салам!»

О, поцелуй тех персиковых губ!
Твой запах в сердце впился так глубоко!
Но грустно знать, что сны так подло лгут,
Что никогда я не был на Востоке.

ДАВНЕЕ

Волов ленивый ход, и сонный скрип колёс,
и жаворонка трель в пылающем зените,
манящий отдохнуть покой лесополос,
далёкого дождя свисающие нити,

весёлых мотыльков затейливый балет,
виолончель шмеля над клевером душистым,
вечерних облаков тревожно-алый свет,
аккорды ветерка на чутких струнах листьев, –

всё это с детских лет впечатано навек
в скрижали памяти; и, может быть, в морозы,
теплом тех давних лет согретый, человек
вдруг вырвется на миг из пут житейской прозы.

ВРЕМЯ СВЕРЧКОВ

Сонет

Вечерний сумрак. Ветры присмирели.
Не шелохнётся ни единый лист.
Но в ткань прохладной тишины вплелись
Ночных сверчков задумчивые трели.

Как быстро угли облаков сгорели,
Припорошив золою неба высь!
Звонят сверчки, и звук их песен чист,
Как звонкий голос ласковой свирели.

Той музыки журчащий родничок
В листве над головой моей сверчок
Прервёт на миг и снова начинает.

И рвётся из груди счастливый вздох,
И кажется, что мир не так уж плох,
Раз есть в нём эта музыка ночная.

За безбрежьем полей, за туманною мглой
километров,
Где от снега, недавно укрывшего землю, светло,

Где кричат провода под холодными пальцами
ветра,
Спит в объятиях ночи уставшее за день село.

Там костры облаков по утрам полыхали багрово
И румянились белые стены приземистых хат,
А потом, в завершение долгого дня трудового,
Тихо тлел, умирая, тревожно-лиловый закат.

Там когда-то томило меня моё горькое детство,
Там навеки оставил я дом и друзей дорогих.
Все, что было, былём поросло. Мне досталась
в наследство
Лишь икона заветная – память о предках моих.

Только сердце ночами зовёт меня снова и снова
(Это всё потому, что незваная старость пришла)
Прогуляться, где бродят печальные тени бывшего
По давно позабытым тропинкам родного села.

Посетить бы ту хату, где мать четверых нас
растила,
Посмотреть на высоких весенних небес синеву,
С замиранием сердца прийти на родные могилы
И слезу уронить на кладбищенскую мураву.

В бездне времени стинуло всё, что там было
любимо,
И седыми песками забвенья засыпан мой путь.
Мне б туда хоть на миг. Только прошлое
неповторимо,
И того, что ушло, никому никогда не вернуть.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

Сонет

Опять ненастье. Ночь темным-темна.
Где верх, где низ, не разглядеть вовеки.
В кисельных берегах дороги-реки,
Недавно промерзавшие до дна.

Наездник-ветер в яростном набеге
Не знающий ни отдыха, ни сна,
Гремит в литавры, стонет, как струна,
Льёт слёзы о дотла истлевшем снеге.

А в комнате – настольной лампы свет
И пар над чашкой с золотистым чаем
Струится, растекаясь в полутьме.

И робкою надеждою согрет,
Я оттепель февральскую встречаю,
Как древнюю отходную зиме.

Парк, словно храм, над земным запустеньем
Ввысь купола золотые простёр.
Косо ложатся холодные тени
На златотканый осенний ковёр.

Над вековой российской грустью
В гулком пространстве октябрьского дня
К югу летят утомлённые гуси,
Давней тоскою разлуки звеня.

Скоро привычную кончит работу
Осень, божественный ювелир,
И декабрём запорошенный мир
Станет большим чёрно-белым офортом.

СЛЕД В СЕРДЦАХ

Сонет

Когда прояснится ненастный небосвод
И перья облаков затеплятся, как свечи,
Под перезвон сверчков в прохладный летний
вечер
Незванная печаль тайком ко мне войдёт.

Давно угасших дней полынь и терпкий мёд,
Негаданность разлук и трепет первой встречи –
Всё, что рождает грусть, и всё, что сердце лечит,
Воскреснув в памяти, в былое позовёт.

Но даже в старости, пустынной и тревожной,
Одним лишь прошлым жить на свете
невозможно
Среди руин надежд и призраков побед.

И хоть шаги мои слегка отяжелели,
Хочу, как прежде, жить, стремясь к высокой
цели...
Лишь для людей живя, в сердцах оставишь след.

РАССВЕТ

Обрывки облаков алеют –
сочатся кровью неба раны,
и тонет дальний край аллеи
в прозрачно-розовом тумане.

Рассветный пламень плавит крыши,
горят в оконных стёклах блики,
и звук шагов твоих не слышен
в прибое воробьиных криков.

В душе так скорбно, так пустынно...
Помедли хоть одно мгновенье!
Лишь на щеке озябшей стынет
руки твоей прикосновение.

К концу марафон подходит, и вот уже финиш
виден,
И красная лента скоро коснётся твоей груди.
И всё теперь в прошлом: удачи, любовь, обиды –
Назад уже не вернуться, а значит, вперёд иди.

А что там за финишем: солнце? сирени
благоуханье?
А может, мороз Оймякона, Сахары нещадный
зной?
Но всё это будет не важно, когда прервётся
дыханье
И тьмы непроглядная бездна тебя захлестнёт
с головой.

Мне Снилось, Что Ночью Поздней
По Мягкой Степной Дороге
Я Брёл В Глубокой Тревоге,
Сверяя Свой Путь По Звёздам.

Мне Терпкий Полынный Запах
Нёс Ветер В Ночи Пустынной.
Он Крался Сонной Долиной
На Мягких Кошачьих Лапах.

Был Путь Мой Долог И Труден,
Иссякли Душевные Силы.
Казалось, Той Ночи Унылой
Конца Никогда Не Будет.

Но Вновь Заря Засветилась,
И Песни Птиц Зазвучали.
И Сердце Вдруг Пробудилось
Для Новых Тревог И Печалей.

14.07.2024

ИСПАНСКИЕ СНЫ ЛУИСА МАРТИНЕСА

Повесть¹

– 4 –

Экспресс, в котором ехал в **ПОЛУМИСКОВА** Париж советский специалист по сельхозтехнике, инженер под простой и нереальной фамилией Бураков, мчался на запад через несколько границ. Но Иван не выходил подышать воздухом на полустанках или столичных вокзалах. Хотя попутчики именно так и поступали, спускаясь по железным откидным ступенькам из своих вагонов с одним желанием – окликнуть бегущих по перрону мальчуганов с пачкой свежих газет и, вернувшись в купе со свежим номером, немедлен-

¹ Продолжение. Начало в №1 за 2024 г. нашего альманаха.



Екатерина

Проза



но предаться чтению. Большинство таких пассажиров, прочитав передовицу, в гневе швыряли газеты в сторону, сопровождая этот жест эмоциональными возгласами, или молча пытались прийти в себя, покачиваясь в такт набирающего ход поезда при тусклом свете ночных лампочек в общих коридорах.

В такие моменты дремавшему капитан-лейтенанту иногда казалось, что это вовсе не поезд, а гигантская подводная лодка, которая выбралась на сушу и движется по земле, словно оживший динозавр, вагонное нутро которого, напоминающее отсеки, раскачивается от этого тяжелого железного бега. А за толстыми оконными стеклами плещут волны, как во время семибального шторма. Впечатление это вполне соответствовало предчувствию потопа или цунами, которое давно витало в промозглом воздухе Европы.

Немецкая, польская, французская речь, звучащая на перронах и в вагонах, уже не напрягала, но и не была настолько понятной и привычной, чтобы пребывать в спокойном состоянии духа. Бурмистров даже во сне как будто нёс вахту и всегда находился начеку. И только иногда он рукой прикасался к нагрудному карману, где лежал загранпаспорт хоть и на чужое, но всё же русское имя, с выездной визой Советского Союза, транзитной визой Германии и въездной визой Французской Республики.

Он впервые ехал под вымышленным именем, но понимал, что фамилии воинов РККА, оказы-

вающих помощь испанским комарадам на полях сражений, ни при каких обстоятельствах не должны быть известны иностранным разведкам, досье журналистам и пограничникам, ставившим штампы на таможене.

Попалась ему на глаза газета на русском языке, которую оставил на столике сосед по купе. Тот, не прощаясь, поздним вечером сошел перед самой границей Польши с Германией. Вестник русских эмигрантов писал, что в Мадрид ворвались мятежники и что республиканцы, спешно покидая город, направляются в провинции, чтобы собраться с силами и дать решающий отпор франкистам. Но некоторые кварталы испанской столицы всё ещё держатся и призывают сражаться за республику до конца. Радио мятежников ежедневно передавало заранее подготовленную программу торжественного вступления националистов в Мадрид и заявления их главнокомандующего генерала Мола о том, что 7 ноября 1936 года он будет пить свой послеобеденный кофе на веранде кафетерия “Молино” на Гран-виа, в центре испанской столицы.

А ведь месяцем раньше, 7 октября 1936 года, правительство СССР заявило Комитету по невмешательству, созданному в Лондоне, а заодно и всему миру, что если не будут немедленно прекращены нарушения соглашения о невмешательстве, оно будет считать себя свободным от обязательств, вытекающих из соглашения. Это означало, что все антифашисты из многих стран

мира, прибывающие теперь в Испанию, были вынуждены уже в пути рисковать своей свободой, а иногда и жизнью. И только две страны, Советский Союз и Мексика, официально разрешили выезжать в Испанию своим гражданам и даже содействовали в этом. Все иные добровольцы, кто был намерен вступить в интернациональные бригады, должны были тайно бежать из своих стран и нелегально пересекать границу.

16 октября 1936 года газета «Правда» опубликовала телеграмму И.В. Сталина, где звучало, что «трудящиеся Советского Союза выполняют лишь свой долг, оказывая посильную помощь революционным массам Испании. Они отдают себе отчет, что освобождение Испании от фашистских реакционеров не есть частное дело испанцев, а общее дело всего передового и прогрессивного человечества». Ту же мысль высказал в канун годовщины Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1936 года М.И. Калинин: «Народы Советского Союза протянули братскую руку трудящимся Испании. Значение борьбы испанского народа выходит далеко за пределы Испании».

И всё же, сами граждане нашей страны не знали, кто именно и когда конкретно отбыл в качестве волонтеров в это самое испанское пекло. Особенно переживал Иван Бурмистров о том, что семья ничего не знала об испанской сути его «дальневосточной командировки». Бог даст, сам возвратится и всё расскажет.

А сейчас у него одна забота – выполнить то, ради чего он отправился в Европу по железной дороге.

Иван Бурмистров приближался к Парижу с такой же скоростью, с какой в это же самое время к Москве направлялся литерный железнодорожный состав из Одессы с особо ценным грузом, о котором никто в мире, за исключением нескольких посвященных, не имел ни малейшего понятия. Совершенно секретная операция под кодовым названием «Х», руководили которой Климент Ворошилов и Семен Урицкий, близилась к завершению. И всесторонняя помощь испанским антифашистам обретала совершенно законные, договорные черты, подкрепленные реальным золотовалютным резервом Испании.

Маршрут «золотого каравана» был тщательно разработан. Сначала в Картахену было перевезено и погружено на советские транспортные суда, прибывшие в Испанию с гуманитарными и военными грузами, около 510 тонн золота (510 079 529,3 грамма), запакованного в 7800 ящиков стандартного типа по 65 кг каждый. Затем всё золото распределили между четырьмя советскими торговыми судами (в операции «Х» они шли под кодовыми названиями «игреки»): «Нева» – 2697 ящиков; «КИМ» (Коммунистический Интернационал Молодёжи) – 2100; «Кубань» – 2020; «Волголес» – 963. Погрузка производилась по ночам в период с 22 по 25 октября в обстановке строжайшей секретности.

Груженные золотом корабли уходили из Картахены с суточным интервалом и, пройдя через Средиземное и Мраморное моря, проливы Босфор и Дарданеллы, в конце месяца вошли в Черное море, а 2 ноября благополучно вернулись в Одесский порт Советского Союза. Контролировал обеспечение охраны транспортов в базе и в море советский военно-морской атташе и старший морской советник в Испании Дон Николас – капитан второго ранга Николай Герасимович Кузнецов.

Весь республиканский военно-морской флот был стянут на предполагаемую трассу «золотого каравана» для охраны, эскадра вышла на линию Картахена-Алжир для обеспечения перевозки золота. Это подтверждалось сводкой военной обстановки по Испании от 20 октября 1936 года, подготовленной Разведуправлением РККА: «Правительственный флот, вышедший из Бискайского залива 13 октября, прибыл 18 октября 1936 года в Средиземное море и сосредоточился в Картахене».

К 5-му ноября 1936 года большая часть всего золотого запаса Испанской Республики была успешно доставлена под усиленной охраной на Киевский вокзал столицы страны Советов, а к 6-му ноября помещена на хранение в Наркомфин СССР. Золото, которое было в слитках, брусках, монетах, включая редкие нумизматические экземпляры, сначала хранилось в подвале двухэтажного дома № 3 по Настасьинскому

переулку в центре Москвы. Затем его переместили в основное хранилище Управления драгоценных металлов НКФ СССР.

Располагалось хранилище тоже в центре столицы на Неглинной улице в трехэтажном здании, построенном ещё в 1895 году, во дворе Госбанка СССР. Здание имело окна на втором и третьем этажах с открывающимися железными ставнями и решётками. Вход закрывался на две железные двери. В холле был подъёмник, лестница вела на второй и третий этажи. Ценности хранились на всех трёх этажах. Первый этаж являлся основным хранилищем золота. Кроме этого, были кладовые для хранения алмазного фонда и других драгоценных металлов. На этажах находились большие железные шкафы, пригодные для хранения золота в слитках. Каждый шкаф запирался одним замком, но двумя ключами. Один из ключей был у начальника сектора кладовых, другой – у контролёра того же сектора. Одним ключом открыть шкаф было невозможно. Драгоценные металлы надежно охранял 173-й полк НКВД.

Десятидневную операцию 22 октября – 2 ноября 1936 года по перевозке испанского золота в СССР уже можно было отнести к числу идеальных.

5 ноября 1936 года заместитель народного комиссара иностранных дел Николай Николаевич Крестинский проинформировал посла Испанской республики в СССР Марселино Паскуа о доставке испанского золота в Москву и о необходимости составления и подписания

соответствующего протокола. После завершения всех формальностей Паскуа и высшие советские официальные лица отправились в Гохран, где в огромной комнате аккуратными штабелями были сложены ящики с золотом, причем 5619 ящиков оказались неповрежденными, у 128 были повреждены лаковое покрытие и деревянные детали, 33 ящика открыли для проверки.

9 ноября с прибытием последнего груза испанского золота – около 2000 ящиков – вся процедура передачи повторилась, после чего Паскуа доложил министру иностранных дел Испанской республики Альваресу дель Вайо о благополучном завершении операции. Вместе с золотом в Москву прибыли четыре представителя испанского правительства, их поселили в гостинице «Метрополь», создав условия для их полной изоляции от окружающих. Им предстояла деликатная миссия – совместно с представителями Гохрана вскрыть все ящики и произвести сверку находящегося там золота с прилагаемыми описями. И эта кропотливая, ответственная работа могла занять больше двух недель.

Капитан-лейтенант Иван Бурмистров, командир советской подводной лодки, направленный сначала в Париж в качестве инженера по сельхозтехнике, а далее в Испанию по срочному вызову военно-морского атташе Дона Николаса с целью срочно изучить состояние подводного флота республиканцев, не имел ни малейшего понятия ни об операции «Х», ни об этих «золотых караванах». Это не входило в его задачу. Он был

первым советским моряком-подводником, которому предстояло срочно оценить боеспособность подводных лодок, числившихся к этому времени в составе военно-морских сил Испанской Республики. Об устройстве испанских субмарин он не был заранее проинформирован, и разбираться с технической секретной документацией, с людьми и механизмами предстояло на месте. Он прекрасно знал устройство советских подлодок, многие из которых достались в наследство от царской армии и были заложены на иностранных судостроительных заводах, но познакомиться с испанскими подводными кораблями ему предстояло в условиях крайне сложных. И он был готов к любым неожиданностям.

В поезде спать почти не удавалось, но Иван привык забывать про сон, находясь неделями в море. Он вздохнул с облегчением только тогда, когда экспресс прибыл во французскую столицу. Он сошел на перрон Восточного вокзала в Париже вместе с десятками своих сограждан, утомленных не столько дорогой, сколько туманными ожиданиями. Неизвестность – одно из самых тяжких испытаний. Он сделал несколько шагов, чуть покачиваясь, словно только что покинул палубу попавшего в шторм корабля, и увидел, как люди в одинаковых пальто и совершенно нелепых фетровых шляпах кружатся перед зданием вокзала, как овцы в непогоду. Они словно боялись расстаться и потерять друг друга из вида, оглядывались по сторонам, раскупали газеты и говорили на смеси русского с французским. Хотя на

французском, в основном, бойко чирикали молодые переводчицы, прикрепленные к небольшим группам приезжих соотечественников.

«Вороны белые», – пронеслось в голове. И Бурмистров решил дистанцироваться, как охотник, который отправился в лес за добычей, а тут откуда ни возьмись нагрянула толпа туристов. К нему живо подъехал таксист интеллигентного вида – кто-то из русских эмигрантов и чуть было не уговорил прокатиться с ветерком на Монмартр, но сзади раздался визг тормозов, и машина с посольскими номерами остановилась рядом.

Через минуту он уже сидел на заднем сидении, а на переднем бойко жестикулировал один из представителей торгпредства, сообщивший, что он опекает всех организаторов будущей выставки и встречает инженера по имени Иван Иванович. А поедут они сейчас в центр на улицу Гренель, где размещается посольство СССР. Оттуда после всех необходимых формальностей он сможет отправиться в один из ближайших отелей, чтобы перекусить и выспаться. А уж потом – почему бы не погулять по оживленным столичным кварталам? Хорошо бы зайти в какую-нибудь кофейню или русскую «Чайную», в книжную или сувенирную лавку, даже в театр сходить или хотя бы в варьете.

Первая в его жизни поездка по Парижу от железнодорожного вокзала вызвала и восторг, и недоумение. Асфальтированные дороги постепенно расширялись, приближаясь к центру города. Они становились более освещенными, парад-

ными и даже более прямыми. Крайне удивили горящие волчьим оком красные фонари у входа на каком-то из зданий, мимо которого они пронеслись на скорости.

Из рассказов и некоторых прочитанных книг Бурмистров мог предположить, что именно помещается под светом таких фонарей, и поёжился. Спрашивать об этом у солидных попутчиков было неудобно. Но водитель, угадав вопрос по удивленному взгляду пассажира, пояснил, что во Франции красными фонарями обозначали не только прибежища «ночных бабочек», но иногда места, где размещались табачные лавки и круглосуточно продавались сигареты, курительный табак, спички, зажигалки. И тут же спросил:

– Вы хотите купить хорошие сигареты или табак? Мы можем притормозить у приличного табачного магазина в центре.

Бурмистров отрицательно покачал головой и сильным голосом отозвался:

– Врачи запретили курить. Трубку дома оставил.

На тротуарах было столько народа, словно начались всеобщие европейские каникулы. В витринах среди бела дня мигали разноцветные электрические гирлянды, но ведь и темнело в ноябре очень быстро. Люди улыбались, многие шагали с пакетами, наполненными румяными длинными батонами французских булок. Откуда-то доносилась живая музыка и смех. И одеты были парижане очень изысканно, с шармом, как на собственных именинах, демонстрируя прохо-

жим и вкус, и приверженность моде, и достаток. Такое складывалось впечатление.

На очередной немой вопрос Бурмистрова теперь уже не водитель, а сопровождающий его в посольство «месье» пояснил:

– Так ведь Рождество на носу!

– А-а... – отозвался Бурмистров и прикрыл глаза.

Рождество – это хорошо! До Рождества по католическому календарю остается чуть больше месяца. Ехал на войну, а попал в предновогоднюю сказку. Совсем как в детстве. Сюда бы сейчас жену да сынишку... Эх, Париж, прекрасный город сбывающихся надежд и чудес. Волшебный оазис посреди жестокой реальности! Так вот ты какой...

– 5 –

Старинный особняк на улице Гренель, 79 был построен в начале 18-го века по проекту одного из ведущих французских архитекторов эпохи Регентства Робера де Котта по заказу герцогини д'Эстре. Откуда его официальным названием стало «Отель д'Эстре». В дальнейшем этот роскошный дворец неоднократно менял владельцев, последний из которых, герцог д'Экар, продал его в декабре 1863 года правительству России. Вплоть до Октябрьской революции здесь размещалось русское посольство во Франции. В 1896 г. в этом особняке останавливался последний император Николай II, присутствовавший лично на торжественной закладке моста Александра III

через Сену. И мост этот располагался не так далеко от посольского особняка. После установления в 1924 году дипломатических отношений СССР с Французской Республикой в здании разместилось полномочное представительство Советского Союза во Франции во главе с первым полпредом Леонидом Борисовичем Красиным. Нынче пост полпреда во Франции занял Владимир Петрович Потёмкин.

В посольстве Бурмистрова приняли как родного.

Паспорт на имя Буракова он сдал на временное хранение в сейф, а взамен получил другой, испанский. Но имени в нем не оказалось. Чиновник вытащил сколку из нескольких страниц и протянул ему с улыбкой:

– Выбирайте!

Это был длинный список имен, на испанский манер состоящий из двух или трех слов. Он сперва погрузился в чтение, а затем отложил этот документ и, также улыбаясь, спросил:

– А что бы вы посоветовали человеку с таким именем, как у меня?

Лицо чиновника стало серьезным, он даже замялся немного, потом ответил осторожно:

– Иван по-испански звучит как Хуан. Хотите быть Хуаном?

– Не хочу! – рассмеялся Бурмистров. – Я имел в виду то, что для всех мы Иваны. А испанцы?

– Самое распространенное имя у них – Луис. Чуть ли не каждый второй его с гордостью носит.

– Вот это другое дело. Буду Луисом! А как по-испански «воин»? Не могу в этом штатском себя представить на баррикадах республиканцев. А синим комбинезоном пока не разжился.

– Мартинес – сын Марса, бога войны. У них этих Мартинесов, как у нас Петровых-Сидоровых. Ну что?

– Решено! Луис Мартинес, и точка. Пишите в паспорте.

– Хорошо. И сразу же телеграмму отправим Дону Николасу, чтобы назначил вам встречу. Это срочно. Тем более, наше посольство эвакуируется из Мадрида.

– Куда?

– В Валенсию. Хотя... горячо там везде. А вы пока погуляйте по Парижу. На Рождество сюда много русских эмигрантов съезжается. И не только русских. Со всего мира. Богема. Спорят, собираются вместе и врозь. Лекции, банкеты, вечеринки... Вот не успели про выставку заикнуться, такой шум пошел. А для того, чтобы это всё через полгода состоялось, столько рабочих рук нужно, и за ними глаз да глаз. Не знаем, за что хвататься. Кинули клич, так испанские беженцы ринулись наниматься на любую работу. А республику отстаивать Сервантеса позовём с его Дон Кихотом и Санчо Пансой?

– Да уж. А где это всё должно состояться? Я про выставку. Полгода я не буду дожидаться. Но хоть взглянуть одним глазком на то место, которое страну нашу может прославить.

– Я вас отвезу, успеете посмотреть.

– Ещё одна просьба, – Бурмистров засипел и закашлялся. – Мне бы пообщаться с кем-нибудь, кто языками владеет и вообще в курсе про испанские дела. Вроде нынешнего Сервантеса. Некогда в библиотеку бегать. Да и «Правду» здесь мальчишки по улицам не разносят...

– Кстати, Илья Эренбург находится в Париже, писатель и корреспондент «Известий». Ждет разрешение на выезд в Барселону. Дня через три, думаю, отправится в Испанию. Познакомлю вас, успеете пообщаться. А вот товарищ Мигель сражается в испанской столице. Его сообщения сразу же пересылаем в Москву по срочным каналам связи. В самом пекле нынче... Мигель наш Мартинес.

– Да уж... Удачи ему, – кивнул понимающе Бурмистров. – Вроде как побратимы теперь мы с ним по маме... Оба Мартинесы... Обнадёживает своими статьями, можно сказать, воодушевляет на братскую помощь испанским товарищам. Эх...

А про себя подумал: «Неужели он будет дожидаться въездной визы в Испанию до самого Рождества? Они тут совсем спятили. Судя по вводным, полученным в Ленинграде, подводные лодки испанцев идут ко дну довольно часто».

На столе лежала стопка свежего номера газеты «Правда». Казалось, к ней никто из посольских не прикасался. Это как-то удивляло. Хотя, чему удивляться? Что сейчас творится в Испании, парижане, а значит и наши посольские, знают гораздо лучше москвичей. И всё же, какой-то потусторонний холодок почувствовался в этой

парижской позднеосенней атмосфере, не ко времени, казалось бы, праздничной, какая-то отстраненность от всего. Как будто Испания с её кровопролитным настоящим находилась где-то на обратной стороне луны. Хорошо бы успеть повидаться с Эренбургом, который более пяти лет публикует репортажи из Испании и Франции. Стало быть, обстановку знает. Не Сервантес, но всё же...

Когда Бурмистров шел на выход по коридору вместе со своим любезным сопровождающим, на глаза ему попался огромный старинный гобелен, такой выцветший, что было почти не разобрать, что на нем изображено.

– Это работа фламандских мастеров, для Лувра старались. Триумф Александра Македонского. Шедевр...

– Надо же, – удивленно пробормотал Бурмистров, стараясь разобрать на этом древнем тканом узоре эпический батальный сюжет.

– Представьте себе, французы постоянно пытаются выкупить эту реликвию. Кстати, вместе с другим гобеленом, украшающим полстены в кабинете нашего полпреда. Там изображена сцена охоты на буйволов. Слава богу, до этого пока не дошло.

– Не дошло до корриды? – вполголоса хмыкнул Бурмистров.

И, спускаясь мимо этого гобелена по лестнице, они чуть не столкнулись лоб в лоб с энергичным человеком, который буквально ворвался во входную дверь и быстро шел им навстречу, чтобы

подняться на второй этаж. Видимо, его пропустили как сотрудника. Но на вид он не был похож на посольских. На самые брови был надвинут фетровый берет, а воротник добротного драпового пальто поднят. На одежде мелкими капельками сверкали растаявшие снежинки. Без обиняков он громко поприветствовал всех, кто оказался в коридоре, и внимательно взглянул на Бурмистрова. Он видел его впервые.

– Илья Григорьевич, легок на помине. Пока нет согласования на вашу поездку. Надеюсь, скоро получим. А это инженер из России, позвольте представить.

– Иван, очень рад познакомиться, – быстро, сильным голосом произнес Бурмистров и цепким взглядом окинул Эренбурга с ног до головы. Ему понравилось открытое, сосредоточенное, волевое, пропорционально вытянутое лицо с высоким лбом и тонкими, правильными чертами. Настоящий интеллигент! Этот автор многочисленных публикаций в «Известиях», не менее известный, чем Михаил Кольцов, не имел надутого высокомерия или хамовитого напора в движениях, или бегающего, суетливого взгляда, то есть не обладал чертами большинства представителей журналистской братии. Такой знает цену словам и не бросает их на ветер.

– Илья, – также кратко произнес Эренбург и протянул ему руку. – Вы в Париже недавно, и я тоже успел проголодаться. С утра ни маковой росинки. Одни эмоции, знаете ли. Прогуляемся?

Я провожу вас в отель «Сен-Жермен». Отсюда всего несколько кварталов.

Он подхватил Бурмистрова под локоть, и через несколько минут они уже шли по тротуару. Сыпала мелкая крупа, но ветра не было. Гуляющих сразу поубавилось, зато кафе оказались переполнены. Бурмистров нес все свои вещи, а у Эренбурга был при себе лишь небольшой портфель.

– Ну, и каким вы находите Париж? Первое впечатление.

– Это Париж меня нашел. Все дороги ведут сюда, очевидно. Вот только языками не владею. Я – специалист совсем из другой области.

Лаконичность ответов и сдержанность пришлись по душе русскому писателю, эмигранту, много лет живущему в Европе, но не утратившему связей с Родиной. И он вдруг решил помочь этому русскому человеку, одетому в кожу путешественнику, уставшему с дороги, но крепко стоявшему на ногах.

– Я живу в Европе четверть века. Свободно владею французским, испанским. Но без русского языка, представьте себе, не мыслю своей жизни. А выучить языки вполне возможно, если это крайне необходимо. Или когда вокруг не найдется ни одного русского. Здесь, в Париже, собралось около 200 тысяч русских. Представляете?

– Эмигранты?

– Да. Несколько волн эмиграции принесли всех нас к этому берегу, до определенного времени вполне цивилизованному. Абсолютное боль-

шинство обожает Россию. Но большинство из этого большинства всё же ненавидят Советский Союз. И опять же, большинство из всех русских эмигрантов – антифашисты. Но для них этот антифашизм видится без страны Советов. Без нас с вами. Понимаете? Вот такой парадокс.

– Для меня это более чем странно, – покачал головой Бурмистров. – А как же братская помощь Испании?

– Видите ли, Иван...

– Иванович.

– Видите ли, Иван Иванович, я хоть и не Сервантес, но уже неплохо понимаю испанцев. А соотечественников давно понял, как мне кажется. Россию покинули те, кто искал спокойной жизни. Пусть небогатой, тоскливой, зависимой ото всех и вся, но всё же спокойной. И они её здесь нашли. А испанские страсти под самым носом Французской Республики лишают их этого чувства спокойствия. Я бы сказал – чувства безопасности. Даже не так. Никто из тех, кто однажды уже потерял Родину, в самом кошмарном сне не желал бы потерять её дважды. С одного бока фашистская Германия не дает покоя, а с другой стороны – революционная Испания. А ведь Франция не так велика, как Россия.

– Понимаю. Все против фашизма, но сражаться некому. Вы полагаете, интербригады за всех это сделают?

– Недавно итальянский самолет сначала скинул на испанскую деревню бомбу, потом полетели листовки: «Испания для испанцев! Мы спасаем

народ от московского варварства». А на носилках лежала раненая девочка. Старый крестьянин только и смог вымолвить: «Звери!» Я это видел, понимаете...

– Я ехал через Европу поездом. Насмотрелся. Нацисты пытаются командовать везде. Даже на путевых разъездах стрелки переводят, такое впечатление. Они и сюда добрались. Вам не кажется?

– Разумеется.

– Но Испанскую Республику есть кому защищать? Рабочие ведь сделают свое дело!

– Своё дело? Если они бросят работу в Германии, Бельгии, Польше, Италии и поедут на баррикады в Мадрид, то хаос быстро наступит в Европе. Оттого что останутся военные заводы. Гитлеру и Муссолини это невыгодно. Под Мадридом сейчас сражаются писатели и ученые, инженеры и врачи... Я об этом тоже писал.

– Но без участия всех испанцев – рабочих, крестьян, интеллигенции – победу не добыть.

– Знаете, у них там сейчас идет полным ходом сбор урожая, апельсины поспели. Собирают машинами, вагонами и пытаются тайно обменять хоть на какое-то оружие и боеприпасы. Анархисты хуже гангстеров – жгут и грабят католические храмы, убивают и мародерствуют. В парламенте тоже никак не договорятся. Рабочие, крестьяне, интеллигенция – это замечательно! У них сейчас такой раздрай в войсках. Генерал Франко поднял военный мятеж, офицеры уволились из армейских рядов, республику отстаивает ополчение, и многие из них никогда раньше не держали в

руках никакого оружия. А франкисты объявили, что к Рождеству возьмут Мадрид.

– Это вряд ли, – почему-то с уверенностью в голосе сказал Бурмистров, словно он уже стоял на баррикадах плечом к плечу с республиканцами. Он и сам удивился своей убежденности. Откуда это?

– Кстати, в столице Каталонии Барселоне, залитой кровью, «Интернационал» играют не так, как в Москве. Вариации пронзительны, судорожны, полны скорби и задора, – произнес задумчиво Эренбург, оглядываясь на проходившую мимо пожилую пару.

Откуда-то сверху слышались звуки «Калинки», которую на все лады нестройными мужскими голосами тянули с едва уловимым акцентом русские эмигранты. Затем под хлопки и свист, разрывавшие душу, знакомые звуки скатились, словно под горку, лавиной, а люди останавливались на бульваре и удивленно вздрагивали, пытаясь понять, с какого этажа через приоткрытые окна доносятся отголоски буйного, безудержного веселья. Главное – по какому поводу?

– Наверное. «Калинку» у нас тоже по-разному поют. Вы давно не бывали на Родине, Илья Григорьевич?

Вопрос застал Эренбурга врасплох. Это было для него неожиданно, к тому же вызвало такую бурю чувств – ностальгию, досаду, восхищение, грусть и тревогу – всё в одном флаконе, как говорится, что журналист едва справился с волнением и ответил:

– Я был в Москве в 1934-м на Первом съезде советских писателей. Раньше мне казалось, что я смогу как-то выжить и даже прожить в эмиграции. И я жил, писал статьи в газеты, книги, меня читали, публиковали, слушали мои лекции. Но, возвращаясь сюда после съезда, едва сдержал слёзы в аэропорту. Теперь в течение двух лет настойчиво пишу и отправляю через посольство прошения разрешить мне вернуться, получить советское гражданство. А мне всё отвечают – товарищ Эренбург, читатели «Известий» так привыкли читать Ваши замечательные статьи и репортажи, что ни о каком переезде на Родину пока и речи быть не может. Ваш голос и так слышен и в Москве, и в Европе. Вот такие пироги, как говорится...

Эренбург быстро взглянул на Бурмистрова, но не стал дальше развивать тему и вернулся к испанцам.

– Воздушный флот Каталонии называют «Красными крыльями». Но вы бы посмотрели на эти самолеты... Как они на них вообще летают? А у фашистов «юнкерсы» и «хейнкели». «Долой интервенцию!» – кричат сторонники фашизма во Франции. И ведь знают, когда и что кричать. А у республиканцев на всё один ответ – «No pasaran!»

«Интересно, – подумал Бурмистров, – каков у них подводный флот? Если он вообще существует у испанцев?» А вслух вполне добродушно произнес:

– Здесь, в Париже, через полгода пройдёт всемирная выставка достижений. Октябрьской Рево-

люции в следующем году исполнится двадцать лет. И с республикой Советов впервые будут соревноваться на равных европейские державы. А мы будем сражаться за образ будущего без фашизма и войн. Разве это не повод сплотить всю местную интеллигенцию, пусть даже трижды отвыкшую от Родины, не представляющую её мощи и величия? Вы же доверяете газетам, в которые сами направляете свои репортажи. Так почему же наши эмигранты не верят? Пусть придут и увидят своими глазами! И есть ведь, на что посмотреть! Я вам это как простой инженер говорю.

– Если бы все простые европейские инженеры так думали, как вы говорите.

– Если бы все журналисты Европы думали так, как вы...

Эренбург улыбнулся:

– В Париже выходит некая эмигрантская газета «Возрождение». Она занята теперь целиком испанскими делами. Анонимный охранник скромно пишет: «Возможно, что вся Каталония против фашизма. Тем лучше – надо огнем и мечом пройти по этой зараженной земле». У безработных вешателей чешутся руки. Они спешат в Испанию. Много лет они выклиничивали чаевые у парижских полуночников и за скромную мзду унижались перед германскими и японскими разведчиками. Теперь они нашли себе дело: они расстреливают испанских крестьян. В газете «Возрождение» также печатаются «Письма белого офицера». Этот храбрый вояка под охраной немецких самолетов «чистит» испанские деревни.

– Неужели всё так печально, как вы обрисовали? А ведь с таким настроем трудно противостоять франкистам, этим «спасителям испанской нации».

– В Париже был недавно представитель каталонского автономного правительства. Журналисты спросили его: «Что вы будете делать, когда националисты возьмут Мадрид? Объявите самостоятельную республику или подчинитесь?» На что тот ответил: «Они его не возьмут. Или вместе с испанцами мы отберем его назад!» У многих из них очень боевой настрой. Они готовы сражаться и умереть за республику. Этим патриотам нельзя позволить захлебнуться. Хотите увидеть своими глазами? Так скоро увидите. Ещё до выставки. Помяните моё слово. Рождество – это повод для всеобщей передышки. А потом Франция захлопнет все входы и выходы на границе с Испанией. Нейтралитет французов не вечен...

Пообедали они около четырех часов пополудни в небольшом кафе на бульваре Сен-Жермен, впитывая парижскую жизнь исключительно «через желудок».

В середине ноября темнело рано. Но эти сутки для Бурмистрова оказались на час длиннее. Ровно настолько, насколько парижское время, установленное строго по Гринвичу, отличалось от зимнего времени стран Восточной Европы, через которые пролегал железнодорожный путь в столицу Франции.

По дороге в гостиницу на каждом шагу попадались рестораны, бистро, бутики, антикварные

магазинчики и книжные лавки, где посетителям предлагали ароматный кофе со сдобными булочками в качестве десерта к прочтению свежего номера популярных печатных изданий. Развлекательные заведения иного толка манили прохожих красными фонарями и огнями сотен реклам, звуками патефонов, живым исполнением шансонье и возгласами уличных разносчиков газет. Париж развлекался.

Да, это был город богатых бездельников, игроков и туристов! На оживленных проспектах можно было встретить людей, говорящих на самых разных языках. Лондонская «золотая молодежь», американские эсквайры, немецкие фабриканты и швейцарские банкиры, а также потомки знатных фамилий мира, весьма пожилые господа, приезжали в Париж, чтобы просто провести уик-энд. Их доставляли многоместные пассажирские самолёты и даже личные авиетки, чтобы они могли потратить свои фунты, доллары, марки, лиры и бог весть еще какую валюту. Бурмистров недоумевал – а где же трудовой Париж? Где же эти братья по классу – пролетарии всех стран?

– Ну, вот и отель, – произнес Эренбург, прерывая мысли своего усталого, а потому молчаливого собеседника. – Я вас утомил. Отдыхайте. Увидимся – возможно, на выставке в Париже, или в Испании, или в Москве. Удачи!

И журналист зашагал прочь от входа в отель.

– Удачи! No pasaran! – кивнул Бурмистров и сжал кулак.

На что Эренбург обернулся и, подмигнув своему новому знакомому, крикнул вслед:

– Salud y ánimo! Это значит: «Привет и мужество!» Учите испанский, хотя бы некоторые фразы. Окажитесь в Испании – сходите на бой быков. Это отрезвляет.

Эренбург подумал про себя, что на летчика Иван не похож, на танкиста тоже, хотя, скорее всего, это был именно танкист – ловкий, хваткий, с сильными руками, крепко державшийся на ногах, остроумный и внимательный, но немногословный. А Бурмистров, в свою очередь, был благодарен случаю за то, что он свел его с Эренбургом. Такие разговоры помогают сверить курс. Ведь времени для изучения реальной обстановки было катастрофически мало. И то, о чем он узнал в Москве и Ленинграде накануне отъезда сюда, уже не было актуально. Ситуация на испанских фронтах, как и обстановка в городах, менялась ежедневно, накаляясь до предела. Даже посольские работники всё узнавали с большой долей опоздания. А вот такие журналисты, как Эренбург или Кольцов, владели информацией куда более достоверной.

Гостиница «Сен-Жермен» показалась ему небольшой и уютной. Молодая, высокая и очень симпатичная жгучая брюнетка по имени Кармен, разумеется, испанка, проводила Бурмистрова в отдельный номер. Она понимающе кивнула и улыбнулась ему, словно была уверена, для чего именно он оказался во Франции. Видимо, и до

него в этом же отеле останавливались привилегированные добровольцы, готовые воевать в интербригадах.

Все остальные сотрудники и сотрудницы гостиницы – французы, испанцы и даже выходцы из эмигрировавших россиян, казалось, тоже всё понимали и демонстрировали своё дружелюбие. Ведь в тихих номерах отеля «Сен-Жермен» находилось еще несколько иностранных «путешественников», конечной целью которых была, очевидно, Испания. И это не являлось таким уж секретом.

Оставшись один в номере, он закрыл дверь изнутри на замок и на задвижку, затем быстро и тщательно осмотрел весь номер, не забыв заглянуть за портьеры, постоял у окна, не включая свет. По центру отведенной ему комнаты располагалась огромная, почти квадратная двухспальная кровать на низких ножках. Никогда в жизни он не видел таких кроватей. Обойдя кругом это «барское ложе», он потрогал матрац и убедился, что тот очень мягкий. Он присел на краешек и словно провалился в пружинистое пуховое облако.

Вдоль всего изголовья, представлявшего собой высокую прочную спинку, плотно придвинутую к стене, помещалась длинная, по ширине кровати, подушка в виде круглого валика сравнительно небольшого диаметра, поверх которой лежали ещё две подушки побольше, видимо, пуховые. Бурмистров взял каждую из них и прощупал, затем откинул одеяло и внимательно осмотрел

постель, а после заглянул под кровать. На прикроватной тумбочке стоял телефонный аппарат, и ему вдруг пришло в голову одной из подушек накрыть его сверху – пусть не подслушивают! Хотя, он ведь один здесь, и разговаривать ему не с кем, тем более по телефону. Боже, как он устал с дороги. До того устал, что уже мерещится всякая чушь. Но надо готовиться ко сну, разобрать свои вещи, наконец.

Верхнюю одежду он повесил в прихожей. Снял ботинки и переобулся в тапочки, которые обнаружил там же, в шкафу. Такие полагались постояльцам гостиниц, как и полотенца, мыло и зубная щетка. Бритву он привёз с собой. Но куда же определить портфель с его ценным содержимым?

Он неожиданно для себя решил спрятать его под матрац с той стороны, на которой не собирался спать. Зачем ему такая широкая кровать? Пусть на одной половине, вместо любимой супруги, скоротает ночь его кожаный портфель с документами. И плевать, что вспученное одеяло немного странно выглядит. Он прикроет его сверху сложенным вчетверо покрывалом, а утром выйдет из отеля вместе с портфелем. И горничная ничего не заподозрит.

Тогда зачем он сейчас, на ночь глядя, пытается его спрятать? От кого? Охотничий инстинкт – а он был хорошим охотником – проявился сам собой. Он словно замаскировался, поджидая с рассветом «пернатую дичь», при этом желая остаться незамеченным, и оборудовал место засады очень тщательно. Вот только ружья не хватает!

Да и охотник ли он теперь? Или дичь для кого-то другого? Нет уж, дудки! Пусть только сунутся.

Он беззвучно рассмеялся собственным мыслям и направился в душ. Над белоснежной фаянсовой раковиной висело овальное зеркало, отражавшее его до пояса. Он остановился, вглядываясь в собственное изображение, и удивился переменам в своей внешности. Усталый взгляд его выражал решимость и даже некоторую спортивную злость, вихры спутанных волос встали торчком, а плечи распрямились, и под рубашкой угадывались хорошо накачанные мускулы.

Бурмистров остался доволен своей физической формой и подумал вдруг: «А что там Эренбург говорил про корриду? Надо бы сходить, как только представится возможность».

На следующий же день, ближе к вечеру, его разыскали посольские.

– Товарищ Мартинес, есть возможность отправить вас в Барселону самолетом из Орли, рейсы в Испанию случаются крайне редко. Пилоты рискуют. Мы выхлопотали для вас местечко.

Бурмистров вздрогнул, услышав своё испанское имя. Ведь с утра ему всё еще казалось, что парижское время вовсе остановилось в преддверии Рождества:

– Когда летим?

– Прямо сейчас. Машина ожидает у входа в отель. Перекусить можно по дороге, вот блинчики с шампиньонами и пирожки с капустой. В русской закусочной успел купить, когда ехал к вам.

– Отлично!

Время в его жизни то тянулось, как густой кисель, а то зайцем несло вскачь, аж сердце заходило. Машина мчалась по центральным улицам в южный пригород Парижа к аэродрому Вильнёв-Орли.

– В Барселоне вас встретит переводчик. Зовут Вальдес. Так мне сообщили.

– Испанец?

– Югослав из интербригады. Моряк.

– Это хорошо, что моряк. А море будет? – с улыбкой просипел Бурмистров.

– Сначала Барселона, потом Валенсия. К морским портам на автомобиле доберетесь. Налёты франкистов участились, бомбят города, деревни и дороги, склады и базы. Главная драка идёт за Мадрид.

– Понятно, – глухо ответил Иван и подумал про себя, что до Картахены тоже придется добираться кое-как, «трамваи» туда по расписанию не ходят. Картахена была, пожалуй, единственным портом республиканцев, защищенным с моря и воздуха. А в Мадриде моряку делать нечего.

– Когда речь заходит о диппочте, нам всегда сообщают, что вчера был последний рейс и больше французские пилоты в Испанию не полетят. Затем за два часа до взлёта звонят в посольство и сообщают, что нашли место для «ваших атташе». Вот так и летаем – в режиме ошпаренной кошки.

– А Илья Эренбург летит?

– Заезжали к нему на квартиру, супруга ответила, что он на Монмартре, с кем-то встречается. Виза есть, и место бы нашлось.

– Жаль.

Через несколько минут посольская машина ворвалась на территорию аэропорта и, объехав несколько ещё припорошенных снегом замерзших луж, остановилась как вкопанная у самой взлетной полосы, где один из самолетов готовился к полёту. В открытую дверцу грузили канистры, вещмешки и рюкзаки, а вокруг суетился высокий мужчина с лохматой гривой волос. Он был одет в темно-синий комбинезон и пытался натянуть шлем на макушку, но тот явно был маловат по размеру. Тогда он бросил краткую фразу, обратившись на французском к летчикам, но те были непреклонны – без шлема не пустят в кабину. Мужчина выругался по-русски и обернулся, увидел Бурмистрова, заулыбался и махнул рукой.

– Илья! Вот журналисты, везде пролезут без очереди.

Они обнялись как старые товарищи.

Посольская машина уже показала «хвост», исчезнув из вида за углом серого здания аэропорта.

– Экзюпери ранним утром вызвал мне такси. Засиделся у него дотемна. Он пока ждёт аккредитации в Барселону. Хмурится, ворчит, что «за этими русскими не угонишься», – ответил Эренбург, и глаза его были печальны.

– Мне сказали, ваша жена со вчерашнего дня не знает, где вы, – пытаюсь шутить, буркнул Иван.

– Неужели ваша жена в курсе испанских приключений? – Эренбург с укором взглянул на русского добровольца. – Если мы в течение часа не

взлетим, начнется дождь. Это надолго, поверьте. И что я, по-вашему, скажу Любе? Что мне приснился дурной сон про Испанию?

– Нет, моя Дуся не в курсе, – вздохнул Бурмистров и поёжился от промозглого ветерка, предвестника дождя.

Из кабины пилотов их окликнули:

– Мсье Поль Жослен! Луис Мартинес!

Механик, пробегая мимо, как-то по-волчьи взглянул на Бурмистрова и сунул ему в руки лётный шлем. Он был ему велик, и тогда Иван не раздумывая надел свой шлем на голову Эренбурга, а тот, что был в руках у журналиста, взял себе. Рокировка удалась, но вот переодеться в комбинезон он не успел, да и в своей «коже» чувствовал себя намного увереннее.

Илья что-то быстро спросил у пилотов, потом перевёл:

– Дождь ожидается слабый, они взлетят. Кого-то ещё ждут.

– Подождём, вашу маму...

Заминки штатских невероятно злили его. Да и болтанку в воздухе нельзя было сравнить со штормовой качкой. Но если Иван плавал «как дельфин афалина» по выражению сослуживцев, то крыльев бог ему почему-то не дал. И от плотно надвинутого на уши и лоб шлема окружающие звуки откатились на немыслимую даль. Из этого «далёка» вдруг донеслись рифмованные строки, которые Эренбург начал читать отрывисто, и в голосе его чувствовался надлом:

Когда в Париже осень злая
меня по улицам несёт,

и злобный дождь, не умолкая,
лицо ослепшее сечёт,
как я грущу по русским зимам...
Каким навек непостижимым
мне кажется и первый снег,
и санок окрылённый бег,
и под уснувшими домами
чуть видный голубой дымок,
и в окнах робкий огонёк,
зажжённый милыми руками,
калитки скрип, собачий лай,
и у огня горячий чай...

«Чай это хорошо, сейчас особенно», – подумалось Бурмистрову.

А русскому журналисту-эмигранту вспоминалось лицо... нет, не Любы, а своей первой жены Катерины. И маленькое розовое личико их дочурки Иришки. Единственной его дочери. И стихи эти он написал тогда, когда ей исполнился всего годик, и она ещё ничего не знала ни о Франции, ни о России. Это было четверть века назад.

Последние строки заглушил нарастающий рёв моторов самолёта. Значит, полёт состоится. Каждая минута теперь приближала к Испании и ко всему тому, что там происходит сейчас. Прощай, Париж, сказочный город вне времени и суеты, в котором грезишь только о любви и о далёкой Родине!

ПОВЕРНУ НАЗАД

Кто встретит время? Где ответ?
Его уносит дикой стаей.
И я по-птичьи ввысь взлетаю,
Когда дороги больше нет.

У горизонта есть закат.
И есть рассвет, как чудо света.
Я снова полечу к рассвету,
А значит – поверну назад.

«Куда? Зачем?» – кричат вослед.
Я светлых слёз своих не скрою,
Опять спешу за добротою
Туда, где зародился свет.

ЛЮБОВЬ И МОРЕ

Белогривые волны стадами
неслись.
Я любовью своей дорожила.
В ней была глубина и небесная
высь –
Необъятная вольная сила.



**Наталья
ОКЕНЧИЦ**

Поэзия



Закрутил и поднял воду бешеный смерч
И помчался нежданно навстречу.
Как большую любовь в непогоду сберечь,
Если та уподобилась смерчу?

Эти чувства уже невозможно сдержать.
Показалось – они не плохие.
Стали небу под стать. Стали ветру под стать.
И ворвались в морскую стихию...

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕТЕР

Носился ветер над водой,
Рисуя рябью серой.
Он был без возраста, живой,
Без комплексов и веры.

А я стою... не нахожу
У этой жизни брода.
Я очень ветром дорожу
И дорожу свободой.

А небо дарит высоту
И рассыпает счастье.
Казалось, крылья отрастут,
Порвут тугое платье.

* * *

Я не пойду туда, где холода,
Где падает на землю ночь седая,
Где ветер обрывает провода
И бесится-ревёт, не уставая.

Но если ты тихонько позовёшь,
Я не приду. Я прилечу незримо,
Возьму с собою тёплый летний дождь
И нежно обниму тебя, любимый.

СНЕЖНАЯ НОЧЬ

Ночь грозила лапой белой,
Заметая снегом сад.
Я простить тебя хотела,
Только ты не виноват.

Ветер злился всю неделю,
Душу бедную терзал
И на старой карусели
Шапки снежные катал.

Эта ночь меня не греет.
Сном окутана кровать.
Неужели не сумею
Без тебя счастливой стать?

БЕЗ ОБИДЫ

Без обиды на жизнь
Я живу много лет,
Прохожу этажи
И встречаю рассвет.

Без обиды на жизнь
Просто легче чуть-чуть:
И судьбой дорожить,
И пройти этот путь.

Без обиды на жизнь,
В сердце память храня,
Отпуская, скажи,
Что прощаешь меня.

ДОРОГАЯ УЛЫБКА

Когда бывает несмешно,
И нити счастья оборвутся,
Я постараюсь всё равно,
Хотя бы просто улыбнуться.

Улыбка кажется смешной,
А почва под ногами зыбкой.
Но это всё-таки улыбка,
Как символ власти над судьбой.

ОБНЯТЬ ВСЕЛЕННУЮ

Спешили минуты, неслись кувырком...
Поэзия... уйма работы.
Я столько стихов разбросала кругом,
Что можно поставить зачёты,

Что можно уже развернуться, уйти,
Не пачкать бумагу словами,
А можно всё выше и дальше идти,
По небу летать с облаками.

И можно Вселенную крепче обнять.
И станет всё сразу понятно,
Что звёзды не нужно как деньги считать,
Вселенная – это бесплатно.

СРОК ДАВНОСТИ

Разве поздно ворвался свет
Прямо в душу, пронзая тело?
За ошибки далёких лет
Я прощенье просить хотела.

Трепетала, ждала, звала.
На воде собирала блики.
Уходила на край села.
Только ветер меня окликнул.

Только поле смотрело вслед,
Провожая пернатых стаю.
За ошибки далёких лет
Ветер в поле меня прощает.

НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Воды бескрайняя картина...
Тепло. И радостно дышать.
Волна похожа на дельфина:
Легка, свободна, хороша.

Она спешит, не уставая,
По колыбели бытия.
Зачем живу? Кто я такая?
И в чём особенность моя?

Красиво всюду: справа, слева.
И птицы просят: «Поделись...»
А мне бы в даль, а мне бы в высь...
Нельзя – душа отяжелела.

Я жизнь люблю и верю снова.
Но призадуматься пора
От недосказанного слова
До пожелания добра.

ПОХОД ЗА МЕЧТОЙ

Россию измерить шагами непросто.
Берёзы шумят на ветру...
Рождаются люди, а с ними вопросы.
Географы верят в мечту.

Мне тоже всегда красоты не хватало,
По-дикому вольной, земной.
Я в поле ушла. Удивительно алый
Рассвет рассыпался мечтой.

Там холод и зной проверяли на прочность
Надежду, как тонкую нить.
Дождём рисовала следы многоточий
Любовь, что сумела простить.

И радуга небо легко озаряла,
Играли на небе цвета...
Но было душе человеческой мало,
Когда исполнялась мечта.

Порою такая терзала усталость...
О чём это сердце болит?
Я в поле ушла и навеки осталась
На русских просторах Земли.

Алексей КРУГОВ
Олег ПАРФЕНОВ

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

1

Герои
ставропольской земли

Краеведение

Народная память бережно хранит лишь наиболее яркие, героические моменты своего прошлого. В свое время знаменитый полководец маршал Константин Константинович Рокоссовский сказал: «Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим».

В сегодняшней России высшей государственной наградой является звание Героя Российской Федерации, зачастую называемое просто «Герой России». Эта награда – пря-



мая наследница звания Героя Советского Союза. Это высшая степень отличия, которую мог заслужить гражданин СССР. Введена она была в 1934 году специально для того, чтобы отметить выдающихся участников спасения экипажа ледокола «Челюскин», потерпевшего бедствие во льдах Северного Ледовитого океана. 5 марта того года к ледоколу прилетел первый самолет, которым управлял летчик Анатолий Ляпидевский: он вывез 12 женщин и детей.

Правительство достойно наградило героев. Семерым летчикам-спасателям было присвоено звание Героя Советского Союза. Мало кто знает, что именно Ляпидевский стал первым в нашей стране человеком, удостоенным высокого звания Героя Советского Союза!

В его биографии записано: Ляпидевский Анатолий Васильевич родился 10 (23) марта 1908 года в селе Белая Глина Медвеженского уезда Ставропольской губернии (ныне этот населенный пункт находится на территории Краснодарского края), в семье священника. Детство провёл в станице Старощербиновской и городе Ейске Кубанской области. Работал подручным в кузнице, учеником слесаря, мотористом косилки, помощником шофёра на маслобойном заводе. Он с детства мечтал о море, хотел поступить в морское училище. Однако «непролетарское происхождение» поставило крест на карьере в военном флоте.

В 1928 году окончил Севастопольскую школу морских лётчиков. Служил в строевых частях ВВС Краснознамённого Балтийского флота,

затем – лётчиком-инструктором в Ейске. Когда случилась катастрофа с теплоходом «Челюскин», Ляпидевский сделал 29 поисковых полётов. Он обнаружил лагерь челюскинцев, совершил посадку на льдину и вывез оттуда 12 человек – десять женщин и двух детей. Поясню. Сейчас у всех путешественников, туристов есть GPS или ГЛОНАСС. Спасатели четко знают, куда лететь. И то бывают трудности и сложности. А в 30-е годы прошлого века, да еще зимой, на снежных просторах Арктики, попробуй найди! Экипаж Ляпидевского только примерно знал, куда им надо было лететь.

Из воспоминаний летчика: «Двадцать девять раз пытались мы пробиться сквозь пургу и туманы в тяжелейших условиях Заполярья, и все безуспешно... Вылетали, брали курс, и каждый раз возвращались – стихия свирепствовала, мороз доходил до минус 40 градусов, а летали мы тогда без стеклянных колпаков над кабиной и даже без защитных очков, просто лицо оленьей шкурой обматывали и оставляли маленькие щелочки для глаз. Но от холода ничего не спасало. В конце концов, на 30-й полет я обнаружил этот лагерь. Солнце, тишина, но страшный мороз – 40–45 градусов... Мы всматривались до боли в глазах. И наконец, прямо «уперлись» в лагерь Шмидта... Решил садиться. Захожу на посадку раз, другой, но для большой тяжелой машины площадка была очень маленькой, всего 400 на 150 метров. Промажу – ударюсь о льды, проскочу – свалюсь в воду. Сделал два круга и на минимальной скорости сел на льдину. Когда вылез, все вокруг кри-

чали, обнимались, лезли целоваться. А у меня в голове одна мысль: черт, а как же я отсюда взлетать-то буду?!» И все-таки он взлетел... Через два часа самолет Ляпидевского приземлился на базе в Уэлене.

В небе Арктики наши полярные летчики действительно совершили подвиг. Безграничные ледяные просторы, полярная ночь, жестокие морозы... Мне довелось прожить на севере несколько лет, не понаслышке знаю, что это такое. И еще метель! Никакой видимости. Летчикам буквально приходилось «ловить» погоду, чтобы продолжить спасательные работы. И еще. Расчистка посадочной полосы сложнейшая проблема! Плюс пурга и жуткий холод. В таких условиях авиамоторы отказывались нормально работать.

История спасения экипажа парохода «Челюскин» буквально потрясла весь мир. Само спасение в полярных условиях такого количества людей не имело аналогов в истории. Английский драматург Бернард Шоу написал по этому поводу: «СССР – потрясающая страна: даже трагедию вы превратили в триумф».

В 30-е годы прошлого века Ляпидевский – легендарный лётчик, популярная личность, известная буквально каждому в СССР. Любимый «Сталинский сокол», получивший Золотую Звезду под номером 1. Вот что рассказывал об этом сам Ляпидевский: «Немногочисленный прием проходил в Георгиевском зале. Неожиданно подошел сам Сталин, который держал в руках

бутылку грузинского вина. Сейчас уже не помню название. Вручив мне свой бокал, сказал: «Что же вы, летчики, пьете по такому торжественному случаю «Нарзан»? Надо пить вино». После этих слов Иосиф Виссарионович сделал основательный глоток прямо из бутылочного горла, а потом обратился ко мне вполголоса со следующими словами: «Запомни, Анатолий, я знаю, что твой отец был поп, и я сам почти поп, недоучившийся, так что можешь ко мне всегда обращаться по любому поводу».

Накануне войны Ляпидевский стал директором московского авиазавода, выпускал самолеты Ту-2, Як-7 и Як-9. Впоследствии руководил разработкой истребителей МиГ. Орден Отечественной войны II степени он получил в 1943 году, находясь на Карельском фронте в седьмой воздушной армии. Один из его друзей Эрнст Кренкель, радист парохода «Челюскин», как-то сказал ему: «Толя, будут еще сотни и тысячи героев, но ты всегда будешь первым».

Во время Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза был удостоен **241** ставрополец. При подсчете учитывались разные категории: уроженцы, призванные, жившие в крае, совершившие подвиг на Ставрополье. Вместе с Карачаево-Черкесией, входившей тогда в состав Ставропольского края, общее количество Героев Советского Союза – **254** человека. Это были действительно герои действительно Великой войны.

Первым из военных моряков, удостоенных звания Героя Советского Союза стал Иван Алексеевич Бурмистров. В Ставрополе есть улица, названная в память о нем. Имя Героя носят библиотека-музей и школа № 11 на Ташле. Именно с Бурмистрова началась морская слава «степного» Ставрополья. Вот что он сам писал о своем детстве и юношестве: «В 1912 году я окончил трехклассную приходскую школу и поступил учиться в городское училище. Проучился два года, тяжелое экономическое положение семьи заставило пойти на заработки...» В 1917 году поступил на кожевенный завод в качестве посыльного и телефониста. Здесь он трудился вплоть до 1923 года. Служил на Черноморском флоте в Севастополе (1925), потом учился в Ленинградском военно-морском училище имени М.В. Фрунзе, которое окончил в 1932 году. Позднее его назначили помощником командира подводной лодки «Д-4» («Революционер»).

Звание Героя Советского Союза он получил в Испании (1938 г.) за образцовое выполнение боевых заданий командования. Он отправился туда в числе добровольцев. Летом 1936 года Бурмистров принял командование субмариной «Исаак Перал». Ее называли в честь известного испанского инженера, который создал первую подводную лодку на электрической тяге. В списках испанского флота Иван Алексеевич значился под именем Луиса Мартинеса. Сам подводник своей главной «спецоперацией» считал охранение военного транспорта, на котором испанских

детей из Картахены эвакуировали в черноморские порты СССР. В общей сложности до начала Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза были удостоены 636 человек, в том числе и Иван Алексеевич. То, что он достоин высочайшей награды, Иван Бурмистров подтвердил и в годы Великой Отечественной войны, когда в должности командира дивизиона подводных лодок на Черном море руководил эвакуацией людей и грузов из Феодосии, Ялты и Севастополя. В 1950 году вышел в отставку, вернулся в родной Ставрополь. Иван Алексеевич был избран народным депутатом и назначен директором кожевенного завода, где начинал свою трудовую деятельность в качестве посыльного...

Матрена Семеновна Наздрачева. Она была санинструктором санитарной роты 35-й гвардейской стрелковой дивизии, одна из четырех женщин кавалеров ордена Славы. Попала на фронт в 18 лет. Свою первую медаль «За отвагу» получила за форсирование Днепра. Тогда, на плацдарме она оказала медицинскую помощь 24 раненым бойцам, вынесла их с оружием с поля боя. Свой первый орден Славы она получила в августе 1944 года. Храбро сражалась, за что ее и достойно наградили. На передовой, порой под огнем врага, девчонка из санитарной роты перевязывала бойцов и командиров. Когда было надо, брала в руки автомат, отбивала вражеские атаки. Это случилось в Польше. Гитлеровцы прорывались из окружения и вышли на ее медпункт. Она тогда спасла 27 раненых и себя вместе с ними. Вто-

рой орден ей вручили в апреле 1945 года, и, третий, уже после войны, за образцовое выполнение заданий командования.

У нее была еще одна довольно редкая награда. В 1973 году Международный Красный крест вручил ей медаль Флоренс Найтингейл: «За исключительную самоотверженность». Этой медалью в СССР наградили всего 46 медработников. Матрена Семеновна носила звание Почетный гражданин г. Ставрополя.

Полковник Николай Иванович Быков окончил Омское пехотное училище. Звание Героя Советского Союза он получил 24 марта 1945 г. Его 215-й гвардейский полк прорвал хорошо укрепленную оборону противника на западном берегу реки Висла. Это произошло зимой 1945 года. Из наградного листа Николая Ивановича: «В наступательных боях полк полковника Быкова уничтожил 1350 солдат и офицеров противника, захватил в плен до 700 человек, уничтожил 9 танков, 155 автомашин. Одними из первых солдаты его полка вышли на реку Одер». Награжден он также орденом Александра Невского, четырьмя орденами Красного Знамени. С 1959 жил и работал в Ставрополе, был заведующим кафедрой сельскохозяйственного института.

Свой подвиг Иван Семенович Лошак совершил на Смоленщине в августе 1943 г. Вот запись из наградного листа: «Тов. Лошак, находясь на передовом наблюдательном пункте, выдвинулся вперед боевых порядков с радиостанцией. С началом контратаки в критическую минуту вызвал

огонь на себя». Благодаря проводимой Лошаком корректировке огня было уничтожено семь самоходных артиллерийских установок и свыше 300 гитлеровцев». Что значило вызвать огонь на себя? Это верная смерть от своих же однопольчан. Чудом выжил человек. В 1944 г. он уже был командиром взвода разведки полка, принимал участие в боях за освобождение Белоруссии. Брал Берлин в 1945. Он оставил свой автограф на стенах Рейхстага. Вот такой героический человек! После войны жил и работал в Пятигорске. Трудился на пассажирском автотранспортном предприятии № 1.

Легендарный лётчик Григорий Максимович Рябушко. Еще юношей он, как и большинство его товарищей, решил стать летчиком. За год учебы в Ставропольском аэроклубе освоил пилотирование. В апреле 1941 года Григорий стал курсантом Краснодарской школы летчиков-истребителей. В небе Заполярья он принял первый воздушный бой. На своём штурмовике он топил вражеские корабли, уничтожал эшелоны с боевой техникой. За время войны Григорий Максимович произвёл более сотни успешных вылетов на бомбардировку живой силы и техники противника.

Из наградного листа Григория Максимовича: «За время Отечественной войны в боях с германским фашизмом тов. Рябушко лично нанес ущерб противнику: уничтожил 280 солдат и офицеров, 48 автомашин, 9 прицепов, взорвал 22 дзота и дота, уничтожил 10 орудий полевой артиллерии, 32 зенитных пулемета и 24 миномета разных

калибров, 3 самолета на земле, подавил огонь четырех орудий полевой артиллерии, сжег и взорвал 2 паровоза и 28 вагонов. В группе восьми самолетов ИЛ-2 уничтожил железнодорожный эшелон до 40 вагонов, создал 6 очагов пожара в расположении живой силы и техники противника, уничтожил 3 склада с боеприпасами и 3 склада с продовольствием, 1 походную автомастерскую, 2 танка и 1 транспортер». Из воспоминаний Рябушко: «Как я мог выжить, до сих пор удивляюсь. Конечно, понимал, что каждый мой вылет может быть последним. Вдумайтесь только, по военной статистике каждому пилоту-штурмовику было отпущено в среднем всего 8–10 атак».

Героически проявили себя в годы Великой Отечественной войны наши земляки – жители городов и сёл Ставропольского края. Мы и в дальнейшем продолжим рассказ о них, снискавших славу и вечную благодарность потомков.

2

Русские макизары

Тысячи советских солдат сражались с нацистами в партизанских отрядах на оккупированной территории Франции, в том числе те, чья жизнь была связана со Ставрополем. К весне 1944 года во Франции действовало 35 партизанских отрядов («Чапаев», «Котовский», «Родина», «Донбасс», «Севастополь», «Свобода», «Деде»,

«Катрин» и другие), состоявших в основном из бывших советских военнопленных.

Для справки. В конце 1943 года на территории Франции числилось более пятидесяти трудовых и концентрационных нацистских лагерей, в которых насчитывалось 60–70 тысяч граждан СССР. Треть из них составляли военнопленные солдаты и офицеры Красной армии, остальные – угнанные на работу через «биржи труда» с оккупированных территорий.

Первоначально партизаны, «маки» (от *Maquis*, «колючий кустарник»), состояли из тех, кто бежал в горы, чтобы избежать отправки на принудительные работы в Германию. Это были небольшие разрозненные группы, плохо вооруженные, как правило, охотничьими ружьями. Но вскоре маки стали более организованными, а к их первоначальной цели сохранить собственную свободу, добавилось активное участие в движении Сопротивления. Значительная часть маки подчинялась организации «Французские франтиреры и партизаны», созданной коммунистами. Чтобы отличаться от других, маки носили береты.

Большинство партизан действовало в горных районах Бретани и южной Франции, особенно в Альпах и Лимузене, применяя партизанскую тактику в борьбе против милиции коллаборационистского вишистского режима и германских оккупационных войск, а также помогая бежать и укрываться заключенным концлагерей.

Своих товарищей по оружию советских партизан, воевавших на территории Франции, маки называли макизарами. По воспоминаниям ветеранов Сопротивления, при проведении операций в интернациональных отрядах русским, как французы называли всех советских граждан, необходимы были лишь распоряжения, касающиеся общей согласованности действий. Большинство их были военными, владели оружием и ориентировались в боевой обстановке, в каком-либо обучении или инструкциях не нуждались.

«Нельзя написать историю освобождения Франции от гитлеровских орд, не рассказав про советских людей, которые рядом с французами участвовали в этой борьбе. Они послужили примером и на многое открыли глаза французским участникам Сопротивления», – писал в прошлом уполномоченный Национального фронта по руководству борьбой советских партизан во Франции Гастон Лярош.

При освобождении Лангона повторил подвиг Матросова

В день 60-летия освобождения французского города Лангона в августе 1944-го, именем Степана Коцура, уроженца станицы Отрадной на границе Кубани и Ставрополья, была названа площадь между проспектами президента Сади Карно и генерала Леклерка. Представлять Россию на торжественной церемонии президент поручил

председателю Межрегиональной ассоциации русских ветеранов французского Сопротивления «Комбаттан волонтер» Олегу Николаевичу Озерову, бывшему командиру отряда Сопротивления MaquisdeLorette» («Маки де Лорет»), в котором воевал Степан Коцур.

Военный оркестр исполнил гимны России и Франции и Песню французских партизан, достигшую такой популярности, что по окончании войны ее предлагали даже сделать национальным гимном страны. Слова песни были написаны бывшей подданной Российской империи Анной Марли, урожденной Анной Бетулинской.

В военных действиях Степан Коцур участвовал с 22 июня 1941 года. При выходе из окружения в районе городка Умань попал в плен и был отправлен в Германию. Находился в лагере, работал в шахтах. В 1943-м его вывезли во Францию, в Бордо.

Незадолго до этого немцы стали свозить на территорию Франции советских военнопленных и гражданских лиц. Использовали их на каторжных работах в шахтах и на строительстве военных объектов Атлантического вала – системы долговременных и полевых укреплений вдоль европейского побережья Атлантики от Норвегии и Дании до границы с Испанией. В районе Бордо находилось более трехсот советских военнопленных, которые строили немецкую базу по ремонту подводных лодок.

Здесь Степан Коцур участвовал в диверсионной деятельности советской подпольной группы.

В марте 1944-го при помощи французских коммунистов в числе других пленных совершил побег, десять дней скрывался в болотах, затем добрался до окрестностей города Сен-Вивьев-де-Монсегюр, попал в партизанский отряд «Маки де Лорет».

«В августе наш отряд вел бои за Лангон, который занимала дивизия СС «Рейх», – вспоминал Олег Озеров. – Гитлеровцы хотели прорваться к Бордо, чтобы выйти к морскому порту, но мы не пускали их.

Во время ожесточенного боя в районе вокзала Степан Коцур получил приказ подавить немецкий пулемет, который своим огнем не давал партизанам подняться в атаку. Степан стал пробираться к цели ползком, короткими перебежками. Подобравшись достаточно близко, он бросил гранату, и пулемет замолчал. Партизаны поднялись в атаку, но тут пулемет неожиданно снова заработал. Тогда Коцур открыл огонь из автомата, а когда кончились патроны, бросился на пулемет и закрыл его своим телом».

Отряд продолжил наступление, выбив немцев у здания железнодорожного вокзала Лангона. Тело Степана Коцура подобрали местные жители. Лишь несколько дней спустя, когда бои временно стихли, партизаны вернулись в Лангон, чтобы похоронить боевого товарища.

Прощание прошло со всеми воинскими почестями. Гроб накрыли трехцветным французским флагом, на флагштоках стояли французские и

советские боевые знамена, партизаны отсалютовали троекратным залпом.

Летом 2004 года, в день 60-летия освобождения французского города Лангона, именем Степана Коцура была названа площадь между проспектами Президента Карно и генерала Леклера. Это единственная во Франции площадь, носящая имя советского солдата.

На парижском кладбище Пер-Лашез в Париже (2005) был открыт памятник советским макизирам – отлитая в бронзе фигура участника Сопротивления в человеческий рост. «Всех нас в те военные годы объединяла ненависть к фашизму и любовь к Родине», – произнес на открытии памятника Олег Николаевич Озеров.

Советских партизан по городу несли на руках

В Ставропольском государственном музее-заповеднике имени Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве есть фотоснимок военного времени, на котором запечатлен момент освобождения французского города Альби в августе 1944 года. На переднем плане отчетливо виден человек в форме капитана французских партизан – во френче, перепоясанном португеей, и берете с пятиконечной звездой.

Это командир батальона первого интернационального партизанского полка на юге Франции ставрополец Борис Захарович Коронный, которому в тот момент было всего 25 лет. Его членский

билет организации «маки» за № 00010. За мужество и отвагу в боях с гитлеровцами, Коронный был награжден высшим французским военным орденом «Военный крест с мечами и бронзовой звездой», двумя медалями «Отличник партизанской войны» и «За боевые заслуги».

Выпускник факультета русского языка и литературы Ставропольского государственного педагогического института Борис Коронный на фронт попал с первых дней войны. Служил в 947-м армейском батальоне связи 10-й армии. В боях под Минском был тяжело ранен, оказался в плену. Сначала находился в лагере в Польше, откуда его перевезли в Эльзас-Лотарингию, неподалеку от французского города Бич.

Во время одной из бомбежек Коронный со своим товарищем Дмитрием Вербицким (позднее командир роты советских партизан) бросились к железнодорожному составу с углем. Этот поезд привез их на юг Франции. В тот же день местный крестьянин Жан вывел беглецов к партизанам.

После освобождения Альби, в котором Коронный командовал ротой, город становится штабом Сопротивления юга Франции. Создается первый партизанский советский полк. Из лучших его бойцов формируется штурмовой батальон, командовать которым поручено было Борису Коронному.

После войны Борис Захарович вернулся в родной Ставрополь, но вскоре оказался под колпаком органов, которые отправили героя в лагерь, где он провел два года. В конце 1940-х Сталина навестил лидер французских коммунистов Морис

Торез, пожелавший встречи с Борисом Коронным, на что вождь ответил согласием.

Бориса Захаровича нашли быстро, отмыли от лагерной грязи, приодели, снабдили документами, дали денег и спецрейсом доставили в Москву. Таким и предстал Коронный перед Торезом. Все бы ничего, только лагерная стрижка выдавала место недавнего пребывания героя Франции. Торез, по всему, обо всем догадался, но виду не подал. Герой дожил до того времени, когда ему позволили выехать во Францию на встречу с боевыми товарищами.

«Ваши солдаты и командиры отдали жизнь за нашу свободу»

В Праге на мемориальной доске начертаны слова благодарности: «Наследница мая баррикадная Прага устремлена в вечность, во имя ее павшие, павшие в концлагерях, павшие на виселицах, расставят дозор для охраны будущего». Эти слова посвящены и нашему земляку, уроженцу села Бешпагир Грачевского района разведчику и партизану Александру Машкову, известному в Чехии под именем Саши Богданова.

Судьба Саши во многом похожа на судьбы сотен тысяч его ровесников. Вырос в селе, помогал родителям в тяжелом крестьянском труде. После окончания семилетки поступил в Пятигорский педагогический техникум. В 1940 году был призван в ряды Красной Армии. Служил на украинской границе с Польшей. С первых дней вой-

ны участвовал в боях в составе 201-го отдельного пулеметного батальона.

Часть, в которой служил Александр, оказалась в окружении, а сам он в плену. Трижды Машков пытался бежать из немецкого лагеря для военнопленных и лишь четвертая попытка увенчалась успехом. На оккупированной территории Украины попал в партизанский отряд легендарного Дмитрия Николаевича Медведева, в составе которого воевал до середины 1944 года. Все члены отряда в целях конспирации меняли имена, так Саша из Машкова стал Богдановым.

Участвовал во многих операциях отряда, пока Ровненская область не была освобождена от оккупантов. Отряд Медведева расформировали, и Александр вернулся в действующую армию.

В начале 1945 года разведывательный отдел первого Украинского сформировал группу разведчиков для действия в тылу противника на территории Чехословакии под командованием Б.П. Харитонova, в которую вошли люди, имевшие большой опыт партизанской борьбы. В составе группы Александр был высажен в тыл противника авиадесантом в районе города Ческа-Тржебова.

Группе предстояло помочь местным подпольщикам произвести разведку по организации и численности войск противника, а также уничтожить склады боеприпасов и горючего. Уже скоро группа имела на счету ряд успешных боевых операций – пущенные под откос поезда, взорванные мосты, освобождение узников.

В конце апреля разведчики вместе с чешскими подпольщиками подготовили дерзкую по замыслу операцию – решили захватить на аэродроме в Хоцене самолет и доставить на Большую землю важную информацию, которую невозможно было передать по радию.

На операцию вышли в ночь на 1-ое мая, группу вел Богданов. Разведчики бесшумно сняли часовых, но как ни старались быть осторожными, их заметили. Поняв, что взлететь невозможно, Богданов приказал уничтожить подготовленный самолет и как старший группы остался прикрывать отход товарищей. Автоматная очередь пронзила его грудь, и каждое ранение было смертельным.

Друзья похоронили Сашу в лесу у селения Срубы, километрах в пяти от города Хоцень. На его могиле был сооружен памятник с надписью: «Русскому лейтенанту – партизану Саше Богданову». За мужество, проявленное в боях, он был награжден орденом «Чехословацкий партизан».

Настоящее имя Саши Богданова удалось установить только спустя пятнадцать лет после войны. Тогда же о смерти сына узнали и его родители, посетили Чехословакию, нашли там новых друзей, с которыми завязалась переписка.

«Я сам испытал ужасы фашистских застенков, сражался с захватчиками, – писал Антонин Бекеш из города Хоцень. – У меня три сына: Владимир, Олгда и Милош. Я воспитываю их патриотами нашей родины и вашей страны.

Рассказываю им о минувшей борьбе с фашизмом, о Советской армии, дорогом нам Александре».

Вот строки из письма Марии Бартгельдовой, жительницы города Пардубице:

«Много могил советских людей рассеяно по нашей земле. Ваши солдаты и командиры отдали свою жизнь за нашу свободу. Наша самая дорогая любовь и глубокое уважение – к погибшим за наше счастье, их родным, ко всем гражданам советской страны».

Маршала Тито и весь его штаб спасли наши лётчики

Советские граждане составляли вторую по численности после итальянцев группу иностранных бойцов Народно-освободительной армии Югославии – свыше шести тысяч человек.

В партизанских формированиях Югославии советские люди появились в конце 1942 года. Это были солдаты и офицеры Красной армии – военнопленные, которые попали на территорию Югославии и бежали к партизанам. Затем в партизанских отрядах появились гражданские лица, насильно депортированные с территории Советского Союза. Они бежали к партизанам из мест принудительного труда на оккупированной территории Югославии, Австрии, Греции, Албании, Италии.

«Русские роты» действовали в полном соответствии с приказами югославского командова-

ния: штурмовали города и вражеские опорные пункты, устраивали засады на дорогах, нападали на транспортные колонны, уничтожали мосты и эшелоны.

Осталось множество свидетельств о мужестве бойцов советских подразделений. Так, согласно отчету штаба 9-го словенского корпуса, 2-й «русский батальон» Базовицкой бригады трижды спасал весь корпус в сложных ситуациях. Штаб 6-го славонского корпуса отметил всю «русскую роту», которая своими контратаками способствовала выходу из окружения подразделений Осиекской бригады», попавшей в засаду.

За свободу Югославии сражался и наш земляк, Анатолий Алексеевич Болотов, родом из Пятигорска – командир «русской роты» 8-й ударной бригады.

В 1943 году лейтенант Болотов попал в плен и был отправлен в Югославию. К югославским партизанам бежал из Бродского лагеря. В бою за Клашницу 15 сентября 1944 года был тяжело ранен, лишился ноги.

Югославский народ не забыл подвигов советского офицера. В 1945 году в торжественной обстановке маршал Иосип Броз Тито вручил Анатолию Болотову четыре югославских ордена: два «За храбрость» и два «Партизанская Звезда» III-й степени. Спустя двадцать лет Болотов получил еще два ордена, которыми был удостоен в годы войны – «За храбрость» и орден Югославии «За заслуги перед народом». Такого числа выс-

ших военных наград союзной армии Югославии не имел никто из иностранных офицеров.

Весной 1944 года советский транспортный самолет взял курс на Югославию. Медлить было нельзя. Верховный штаб народно-освободительной армии во главе с Иосипом Броз Тито оказался в тяжелейшем положении – в городе Дрвар, где он размещался, был высажен немецкий воздушный десант с целью захвата или убийства Тито (операция «Ход конем»).

Операция провалилась, но немцы не отказались от идеи ликвидировать Верховный штаб. Экипажу нашего самолета предстояло вывезти югославское командование в безопасное место, на остров Вис в Адриатическом море. За штурвалом находился гвардии майор Александр Шорников, место второго пилота занял пятигорчанин капитан Борис Калинин, штурман Павел Якимов.

«Во время полета нас волновала одна мысль – сумеем ли мы точно определить эту маленькую посадочную площадку, затерянную среди гор, – вспоминал Борис Тихонович Калинин. – Мы знали сигналы, которые нам должны были подать с земли, но все же десятки раз проверяли, правильно ли ведем самолет по курсу, до боли в глазах всматривались в темноту, чтобы увидеть эти сигналы.

Вот показался свет от костра. Да, именно здесь, за этим обрывом небольшая площадка, которую мы ищем. Пожалуй, ни один самолет

нашего типа не садился в таких сложных условиях... Нам нужно было спланировать над горой и остановить машину там, где разложили последний костер – ни на метр дальше».

Эвакуация штаба потребовала двух рейсов. Чтобы сбить противника с толку, постоянно приходилось менять курс, маневрировать, уходя от разрывов зенитных снарядов, но задание было выполнено. Маршал Тито лично поблагодарил экипаж за мужество и отвагу, поздравив с присвоением всем троим высшего звания – Народных героев Югославии. За успешное выполнение задания члены экипажа были удостоены звания Героя Советского Союза.

Война Бориса Калинин застала в должности командира звена пятигорского авиаотряда. На его счету сотни вылетов на перевалы Марухский, Клухорский, Аданге, куда доставлял боеприпасы, медикаменты, продукты, а потом забирал раненых. Позднее, в 1943-м, Калинин поддерживал обеспечение партизан Крыма. Но судьба оказалась немилосердна к герою – летом 1945 года он погиб в автомобильной катастрофе под Берлином.

В 1967 году в день рождения летчика, 14 апреля, его имя навечно было внесено в списки летного состава пятигорского аэропорта. Позднее по ходатайству аэропорта исполком Пятигорского горсовета переименовал улицу Ревкомовскую в улицу Бориса Калинин.

Литературное Ставрополье

Альманах № 1 (2025)

Отпечатано в ООО «Славянская Типография»
Воронеж, пр-т Труда, д. 46д, помещ. 1, ком. 1

Подписано в печать **00.07.2025**
Тираж 1000 экз. Заказ № **000000**